

**Военные  
Приключения**

**...ПРИ ИСПОЛНЕНИИ  
СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ**



**ЮЛИАН СЕМЕНОВ**

Военные приключения (Вече)

Юлиан Семенов

**При исполнении  
служебных обязанностей.  
Каприччиозо по-сицилийски**

«ВЕЧЕ»

1962, 1978

**Семенов Ю. С.**

При исполнении служебных обязанностей. Каприччиозо по-сицилийски / Ю. С. Семенов — «ВЕЧЕ», 1962, 1978 — (Военные приключения (Вече))

ISBN 978-5-4484-7877-2

Издательство «Вече» в рамках популярной серии «Военные приключения» продолжает публикацию произведений известного русского писателя Юлиана Семенова. Мог ли предположить Герой Советского Союза, бывший летчик-истребитель, капитан Струмилин, что обычный транспортный рейс по зимовьям Арктики вновь потребует от него стойкости, отваги и жесткой бескомпромиссности решений, как в минувшую войну. А рядовая командировка «по заданию редакции» неожиданно обернулась для известного журналиста головокружительным и опасным приключением в самом сердце Сицилии, родине мафии...

ISBN 978-5-4484-7877-2

© Семенов Ю. С., 1962, 1978

© ВЕЧЕ, 1962, 1978

# Содержание

...При исполнении служебных обязанностей	6
Глава I	6
1	6
2	8
3	10
4	13
5	14
6	16
7	19
8	21
9	22
10	23
11	26
Глава II	29
1	29
2	31
3	33
4	37
5	39
6	41
7	44
Конец ознакомительного фрагмента.	46

**Юлиан Семенов**  
**При исполнении служебных обязанностей.**  
**Каприччиозо по-сицилийски**

© Семенов Ю.С., наследники, 2008

© ООО «Издательский дом «Вече», 2008

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2019

Сайт издательства [www.veche.ru](http://www.veche.ru)



## ...При исполнении служебных обязанностей

### Глава I

#### 1

Струмилин сел в машину и сразу же полез за папиросами. Последние пять лет он всегда очень помногу курил и перед медицинской комиссией и после нее.

«Старая перечница, – зло подумал он о старике профессоре, который загнал его в барокамеру и выкачивал воздух до уровня, соответствующего пяти тысячам метров, – ему приятно играть на нервах, этому эскулапу...»

Старик профессор смотрел на Струмилину, ставшего в барокамере зеленым, вздыхал и грустно покачивал головой. А потом он сказал:

– Плохо, очень плохо, батенька вы мой...

И написал в личном деле Струмилину: «пятая группа». Пятая группа – последняя летная. Дальше – пенсия, достаточная и почетная. И все. Прощай, небо, прощай, Арктика!

Струмилин сидел в машине, курил и смотрел на часы. Чем дольше он смотрел на часы, тем больше злился. Когда он выходил, в вестибюле его окликнул Фокин из отдела перевозок и попросил подвезти.

– Я через пять минут, Павел Иванович, – сказал он, – подождите пять минут меня, ладно?

Но прошло уже десять минут, а Фокина все не было. А Струмилин особенно сердился, когда ему приходилось ждать. Неважно, кого, зачем и почему. Работа в полярной авиации выработала в нем непреложную привычку: опаздывать можно не больше чем на сорок секунд. От силы на минуту.

Однажды, еще в самом начале, в тридцать третьем году, он опоздал на аэродром в Тикси минут на пять. Его первый командир и учитель Леваковский усмехнулся и сказал:

– Опаздывают престарелые кокетки, сутенеры и неврастеники. Точность – вежливость королей, и хотя я против монархии, но тем не менее лучше иметь дело с аккуратным эрцгерцогом, чем с расхлыстанным комсомольцем. *Vous comprenez?*

Струмилин смешался, покраснел, а потом весь перелет до острова Птичьего мучился из-за того, что не ответил: «*Oui, monsieur...*» Ему тогда казалось, что эта фраза, сказанная с легкой усмешкой, должна была парализовать тот взрыв смеха, который вызвали слова Леваковского у экипажа. Струмилин пролетал с Леваковским четыре года и каждый раз поражался изумительной точности этого человека.

Леваковский не любил, когда штурман, расписывая маршрут и время полета, говорил:

– Будем минут через двадцать пять – тридцать...

– Точнее, пожалуйста, – просил Леваковский.

– Как точнее?

– А вот так. Точнее.

Штурман хмурился, отходил к своему столику и через несколько минут говорил оттуда:

– Вы должны прибыть точно через двадцать семь минут.

– Благодарю вас, – отвечал Леваковский и улыбался, прекрасно понимая, почему штурман делал ударение на слове «вы», а не говорил, как это было принято, «мы». Леваковский весь подбирался и сажал самолет точно через двадцать семь минут.

Сначала Струмилину сердил этот, как ему казалось, никому не нужный и раздражавший педантизм, но потом незаметно для себя самого он стал подражать Леваковскому и сердиться на штурмана, когда тот давал приблизительные данные.

Пролетав с Леваковским два года, Струмилин стал так же поглядывать на часы, если кто-либо задерживался хоть на минуту. И так же, как Леваковский, он делал выговор опоздавшему вне зависимости от того, кто был опоздавший.

Однажды Струмилин подошел к самолету, когда собрался уже весь экипаж. Леваковского не было. Струмилин глянул на часы и обомлел: командир корабля опаздывал на три минуты. Когда Леваковский пришел через пятнадцать минут, Струмилин мстительно сказал:

– Опаздывают престарелые кокетки, сутенеры и...

– И неврастеники, – перебил его Леваковский, засмеявшись.

Уже в самолете, когда легли курсом на мыс Челюскин, Струмилин узнал, отчего так опоздал командир. Он, оказывается, сидел на радиоцентре и принимал сообщение из Москвы о том, что у него родился сын.

Струмилин снова посмотрел на часы. Фокин опаздывал теперь уже на пятнадцать минут.

– Ну его к черту, – сказал Струмилин, – пусть в другой раз будет точным.

Он выбросил папиросу и нажал на кнопку стартера. Машина рванулась с места. Когда Струмилин сердился, он ездил особенно быстро. Милиционеры на Кутузовском проспекте узнавали его большую черную машину и никогда не свистели вдогонку, если он выходил на осевую линию, нарушая этим правила движения. Они улыбались ему вслед и вздыхали, потому что тайком завидовали Струмилину. Милиционеры, так же как и мальчишки, всегда завидуют полярным летчикам...

Струмилин обычно собирался сам. Даже когда была жива его жена Наташа, он все равно собирался сам: не торопясь, заходя, очень тщательно подбирая вещи и экономно складывая их в большой желтый чемодан, сплошь заклеенный разноцветными штемпелями отелей всего мира.

Собираясь, он пел, причем всегда одну и ту же песню:

Эх, выехал охотник  
Да во чистое поле,  
Там птицы летают  
В высоком просторе...

Уложив чемодан, Струмилин проверил его на вес: не тяжел ли? Он ненавидел, когда чемодан разбухал и его приходилось из-за этого перебрасывать с руки на руку. На этот раз чемодан был уложен с первого раза точка в точку. Струмилин похвалил себя и поставил чемодан на маленький столик возле двери. Он заметил, что большая желтая наклейка, которую приляпали на чемодан в аэропорту Басры, сейчас почти совсем оторвалась. Сначала Струмилин решил совсем оторвать ее, но потом он вспомнил старика. В джунглях рядом с домом того старика он жил две недели. Это был очень интересный старик, мудрый и спокойный. Он целыми днями сидел на солнце и грел ногу. У него болело колено. И еще все время кашлял. Струмилин замечал, как старик сдавал день ото дня. Однажды вечером, когда Струмилин возвращался с аэродрома домой через пальмовую рощу, он увидел старика. Старик стоял около высокой пальмы и плакал. Потом он медленно обхватил пальцами теплый пахучий ствол дерева и полез вверх, переступая босыми ногами по толстым выступам на коре. Пальма была высокая, и поэтому кора на ней загрубела и стала как камень. Пальма пахла зноем. У нее был запах пустыни – сухой, пряный и резкий. Движения старика были спокойные, а потому сильные. Ста-

рик не прижимался к стволу дерева: это было бы свидетельством страха. Он был как наездник сейчас, этот больной старик. Он лез, чуть откинувшись назад, точно как наездник. Пальма, как и конь, друг человека: пальма кормит, конь возит.

Струмилин лез свободно, почти совсем не прилагая усилий, откинув корпус и подняв голову, чтобы все время смотреть через стрельчатую крону пальмы.

– Что это он? – тихо спросил Струмилин у переводчика.

– Умирает, – ответил тот. – Прощается с небом.

Струмилин усмехнулся и снял чемодан с маленького столика. Он поставил его на пол и пошел искать клей. Ему захотелось получше прикрепить наклейку из Басры, чтобы она не оторвалась совсем во время полетов над Арктикой.

## 2

Женя пришла домой в десять часов. Струмилин сидел у окна и курил.

– Ты что, папа?

– Ничего, малыш. Просто курю.

– Тебе плохо?

– Нет. Мне совсем не плохо, – сказал Струмилин и вздрогнул. – Давай ходим куда-нибудь, а? Ты не занята?

– Ну что ты...

– Очень устала?

– Совсем не устала, – соврала Женя, потому что она очень устала на сегодняшних съемках. Но отец был как-то не похож на себя: сторбленный и постаревший. Женя поцеловала его, погладила по щеке и сказала:

– Через пять минут я буду готова.

Они поехали в ресторан «Украина» и сели за единственный свободный столик у самой эстрады.

– Мы не сможем говорить, – сказал Струмилин, – наверное, они очень громко играют.

– Будем кричать.

– Тогда нас с тобой выведут, как мелких хулиганов.

– Кричать – это хулиганство?

– В общем – да. Нужно говорить тихо, если хочешь, чтобы тебя услышали и поняли правильно.

– Папа заговорил афоризмами, у папы плохое настроение, – улыбнулась Женя. – Что ты, папочка?

– Я? – переспросил Струмилин. – Я котлету по-киевски. А ты?

Женя засмеялась и подумала: «У него что-то случилось. Это совершенно точно». Она обернулась, чтобы посмотреть, на каком столе можно взять меню, и увидела совсем неподалеку второго оператора Нику. Он сидел с приятелем и с двумя девушками. Девушки были такие, о которых друг ее отца журналист Андрей Новиков говорил: «раскладушки». Ника смотрел на Женю нахмурившись, не мигая, зло. Женя почувствовала, как у нее похолодели щеки. Струмилин тоже заметил Нику, краешком глаза глянул на Женю и отвернулся.

«Красавец парень, – подумал он. – Значит, подонок. Боюсь я красивых что-то...»

Струмилин снова взглянул на Нику и сразу же вспомнил своего следователя в кенигсбергской тюрьме. Его подбили под Пиллау, и он попал в плен, обгоревший, израненный, почти без сознания. Сначала его поместили в госпиталь. Там кормили с ложки чем-то очень вкусным. Вкусным тогда ему казалось все кислое. Потом его чуть подлечили, и к нему в палату зашел офицер из «люфтваффе». Он осведомился о здоровье Струмилина. Говорил он на чистом рус-



ском языке, с вологодским оканьем, и Струмилину это поразило. Офицер угостил Струмилину турецкими сигаретами, спрятал ему под подушку еще две пачки и спросил:

– Хотите почитать газеты?

Струмилину молчал.

Офицер пожал плечами и сказал:

– Давайте говорить откровенно, ладно?

Струмилину снова ничего не ответил.

– Слушайте, – тихо и грустно спросил офицер, – вы умный человек или обыкновенный коммунист?

– Обыкновенный коммунист, – ответил Струмилину.

– Ясно. Значит, джентльменский разговор у нас с вами не получится?

– С вами – нет.

– Зря. Мы армия, с нами можно иметь дело. Если не мы, тогда гестапо, понимаете?

– Понимаю.

– А знать мы хотим немного. Раньше вы таскали к нам легкие бомбы, теперь вы таскаете тонные. Чья это техника? Петляков, Микоян или Туполев? И всё. Дальше мы примем свои меры. Понимаете?

Струмилину отвернулся к стене и закрыл глаза. Вечером его перевели в тюрьму и сразу же бросили в карцер. Там он сидел два дня. Потом его отвели на допрос. Следователь был красивой юношеской красотой, нежной и ломкой. Он был очень похож на Нику, только он все время улыбался, даже когда Струмилину терял сознание от боли. Следователь прижигал незажившие ожоги спичкой и улыбался, а Струмилину был и терял сознание.

«Я сошел с ума, – одернул себя Струмилину, – дикость какая! При чем тут этот парень?»

Струмилину стало мучительно стыдно своих мыслей, он виновато посмотрел на Женю, кивнул головой на Нику и сказал:

– Хороший парень, зря ты с ним поссорилась.

– С трусом нельзя ссориться.

– Ты имела возможность убедиться в его трусости?

– Да.

– И ты можешь мне рассказать об этом?

– Конечно. Наш постановщик Рыжов сидит на съемках с температурой, потому что не может болеть дома, пока идут съемки. Ты же знаешь его, он все время волнуется. В Голливуде подсчитали, что самая большая смертность в возрасте до сорока лет – у режиссеров: разрыв сердца или полное нервное истощение. Ну вот... А главный оператор очень спокойно относится к картине, и он, – Женя кивнула на Нику, – все время жаловался мне на главного, что тот спокоен.

– Так это же хорошо.

– Что?

– Если спокоен, – усмехнулся Струмилину.

– Он слишком спокоен, – сказала Женя, нахмурившись, – а это уже рядом с равнодушием: что бы ни снимали, ему все равно. Поставит свет и – жужжи себе камера... И когда мы собрались на летучке, я сказала, что мы, молодые, очень озабочены операторским качеством отснятого материала. А главный оператор спросил меня: «Кто это “мы, молодые”?» Нас на летучке было двое молодых: я и Ника. Он опустил голову и не сказал ни слова, хотя говорит об этом всем в коридорах. А он обязан был встать вместе со мной. Он не сделал этого. Это даже не трусость, пожалуй. Это подлость. И не крупная, а мелкая, мышьяная. Я сказала ему, что не хочу его больше знать. И мне это больно.

– Да?

– Ну, не то чтобы очень больно, – ответила Женя тихо, – а просто такое ощущение, будто надела мокрое платье...

### 3

Богачев долго раздумывал, пойти в ресторан или пораньше лечь спать, чтобы завтра явиться по начальству первым, ровно в девять ноль-ноль. Но в раскрытые окна доносилась музыка. В ресторане играл джаз. Богачев любил джаз. Поэтому он достал из кармана записную книжку и начал листать ее. Странички с литерами были пусты: книжку он купил только вчера и только из-за того, что ему понравилась обложка, сделанная под черепаховую кожу. Правда, перед отъездом из училища великий ловелас Пагнасюк дал Павлу несколько телефонов в Москве.

– Девочки экстра-пума-прима класс, – сказал он, – море нежности, бездна целомудрия и все такое прочее. Позвони, два галантных слова, тыр-пыр, восемь дыр – и вечер у тебя будет обеспечен. Что касается ночи, то все зависит от степени твоей оперативности.

Богачев достал листок, на котором Пагнасюк записал имена и телефоны, сел к столу и начал звонить. Он набрал первый номер – номер, по которому должна была ответить Роза.

– Можно Розу? – спросил Богачев, когда подошли к телефону.

– Розка! – закричал кто-то на другом конце провода. – Розу вашу просят!

Потом в трубке надолго замолчали.

– Аллю, – прошамкал старушечий голос, – кого тебе?

– Розу.

– Колька, что ль?

– Нет.

– Чего «нет»? Не слышу разве? Нет ее, упорхнула твоя Розка в кино.

И повесили трубку.

Богачев набрал следующий номер и попросил Галю.

– Одну минутку, – ответили ему, – сейчас Галя подойдет.

Богачев закурил и стал рисовать на бланке гостиницы чертиков и женские ножки.

– Я слушаю, – сказала Галя.

– Я тоже.

– Бросьте шуточки, кто это?

– Богачев.

– Какой Богачев?

– Легчик Богачев.

– Вы не туда попали.

– Почему? Туда попал. Вы Галя?

– Да.

– Мне ваш телефон Пагнасюк дал, Леня Пагнасюк.

– Он рыжий?

– Он не любит, когда о нем так говорят. Он белокурый.

Галя засмеялась и спросила:

– Что вам надо?

– Многое.

Она снова засмеялась.

– Многого у меня нет.

– Может, сходим поужинаем куда-нибудь?

– Я уже собралась спать, что вы...

– Жаль.

– Если хотите, завтра.

– Я не знаю, что будет завтра.

Галя сказала близко в трубку, шепотом:

– Сейчас это неудобно по ряду причин...

– Муж дома?

Она засмеялась:

– Конечно...

«Вот сволочь!» – подумал Богачев и сказал:

– До свиданья.

Он не стал звонить по другим телефонам Пагнасюка.

«Все-таки Ленка подонок, – подумал он, – я всегда думал, что он подонок. Неужели ему мало незамужних? В замужних можно влюбляться серьезно, а не так, как он».

Богачев повязал свой самый модный галстук и пошел вниз, в ресторан. Он спускался по лестнице, прыгая через три ступеньки, загадав при этом, что если он сможет спуститься вниз в таком темпе, ни разу не нарушив его, то вечер сегодня будет хороший и интересный. На самом последнем пролете он споткнулся и вошел в зал, прихрамывая: он подвернул ногу, и она заболела тупой, ноющей болью.

В зале было только одно свободное место: за тем столиком, где сидел Струмилин с Женей. Богачев спросил:

– У вас не занято?

Струмилин вопросительно посмотрел на Женю. Она ответила:

– Нет, пожалуйста.

«Какая красивая! – подумал Богачев. – И где-то я ее видел».

– Простите, я вас не мог видеть в Балашове? – спросил Богачев Женю.

– Вряд ли, – ответила она, – я там была, когда мне еще не исполнилось семи лет.

– Вас понял, – сказал Богачев, – прошу простить.

И он занялся меню.

– Хочешь сигарету? – спросил Струмилин.

– Спасибо, пап, не хочется. Я сегодня на съемках перекурилась.

«Она актриса, – понял Богачев, – я видел ее в картинах. Вот дубина, приставал со своим Балашовом!»

Богачев выбрал себе еду, решил выпить немного сухого вина и кофе по-турецки.

– Сегодня Рыжов говорил мне любопытные вещи, – рассказывала Женя отцу. Она наморщила лоб, вспоминая. – Сейчас, погоди, я скажу тебе точно его словами. Он мне объяснял эпизод, когда я могу сделать очень выгодную партию с нелюбимым человеком и нахожусь на распутье. Он объяснял мне так: лавочник, спящий с женой под пуховым одеялом, считает безумцем и чудачком полководца, спящего под серой суконной шинелью. Лавочник не в состоянии понять, что достигнутое – скучно, как скучна стрижка купонов. Понятие достигнутого широко: это понятие распространяется от зеленой лавки до обладания полумиром. Полководцу будет скучнее, чем лавочнику, если он будет делать все то, что ему хочется. Высшая форма наслаждения – знать, что можешь. Высшая форма самоуважения – знать, что можешь заставить мир положить к твоим ногам яства, богатства, женщин – и не заставлять мир делать это. Лавочник заставил бы...

– Любопытно, – сказал Струмилин, – хотя чуточку эклектично.

Богачев покраснел и сказал:

– А по-моему, это чистая ерунда.

– Чистая? – улыбнулся Струмилин.

– Чистая – в смысле абсолютная.

– Почему так? – спросила Женя.

– Потому, что лавочник никогда не станет полководцем. Это раз. И еще потому, что полководец спит под суконной шинелью раз пять в году – для журналистов, писателей и приближенных историков. Это два. А то, будто высшая форма наслаждения – знать, что можешь, – бред. Это три. Каждый гражданин должен знать, что он все может, и незачем это его сознание считать чем-то исключительным. Наслаждение исключительно.

Струмилины и Женя переглянулись. В глазах Струмилины заблестели веселые огоньки.

– Вы не философ, случаем? – спросил он.

– Нет, – ответил Богачев, – к счастью, я не философ. А ваша работа в кинематографе, – он посмотрел на Женю, – мне очень нравится. Вы здорово играете: честно, на всю железку.

Струмилины засмеялись, а Женя сказала:

– Спасибо вам большое.

Богачев смутился и начал внимательно изучать меню, хотя заказ он уже сделал.

«Не хватало, чтобы я в нее влюбился, – подумал он. – Романтичная получится история».

Джаз заиграл медленную, спокойную музыку. Богачев поднял голову, посмотрел на Женю и попросил:

– Давайте пойдем потанцуем, а?

Женя поднялась из-за стола и ответила:

– Пошли.

Они танцевали, и Женя все время чувствовала на себе взгляд Ники.

– Ваш папа не будет сердиться? – спросил Богачев.

– Нет, не будет.

– Вы танцуете так же хорошо, как играете в кино.

– Вы тоже очень хорошо танцуете.

– Я знаю.

Женя улыбнулась.

– Нет, верно, я знаю. Я учился в школе танцев, когда был в ремесленном.

– Что вы делали в ремесленном?

– Вкалывал.

– Вкалывали?

– Ну да.

– А зачем же школа танцев?

– Обидно было. Школьники все пижоны, а мы работяги. Ну вот, я и решил постоять за честь рабочего класса. Мы ходили к ним в школу на вечера и танцевали, как боги.

– Как боги?

Теперь засмеялся Богачев.

– Это к тому, что нам неизвестно, как танцуют боги и танцуют ли они вообще?

– Конечно.

– Боги танцуют, – убежденно сказал Богачев. – Боги танцуют липси, когда им грустно.

Музыка кончилась. Богачев шел с Женей между столиками. Ника смотрел на Женю. Ей вдруг стало весело и захотелось показать ему язык. Почему ей захотелось это сделать, она не поняла, но желание такое появилось, и оно было острое. Жене стоило труда удержаться и не показать Нике язык.

«Почему его зовут Ника? – подумала она. – Так зовут балованных детей. Это хорошо, что его зовут Никой. Если бы его звали как-нибудь по-мужски, мне бы не захотелось показать ему язык. И мне было бы неприятно танцевать с другим. А мне приятно танцевать с этим парнем, хотя он весь какой-то непонятный и смешной. Но это хорошо, когда мужчина смешной. Значит, он смелый. Или – добрый».

Когда они пришли к столу, Струмилины уже расплатились.

– Пойдем, Жека, – предложил он, – пойдем, дочка, а то мне завтра рано вставать. Спасибо тебе, мне было хорошо. И все стало хорошо, потому что мы зашли сюда с тобой.

Когда они ушли, Богачев подумал: «Ничего страшного. Я найду ее на студии. И ни за что не буду к ней звонить по телефону. Очень нехорошо звонить женщине по телефону».

## 4

Первый, кого Богачев увидел в кабинете командира отряда Астахова, был давешний мужчина из ресторана, отец Жени.

– Познакомьтесь, Павел Иванович, – сказал Астахов, когда Богачев представился ему, – это ваш второй пилот.

– Здравствуйте. Зовут меня Павел Иванович. Фамилия – Струмилин.

– Струмилин? – поразился Богачев. – Тот самый?

Астахов засмеялся и сказал:

– Тот самый.

– Где вы учились? – спросил Струмилин.

– В Балашове.

– У Сыромятникова?

– Да.

– Он прекрасный пилот.

– Вы лучше.

Струмилин поморщился: парень слишком грубо льстит.

– Я правильно говорю, – словно поняв его мысли, сказал Богачев. – Сыромятников – прекрасный педагог, но как пилот – он же старый.

– Между прочим, он моложе меня на три года, – хмыкнул Струмилин, – так что впредь будьте осмотрительны в оценках.

– Это приказ или пожелание?

Струмилин посмотрел на Астахова. Тот опустил глаза и принялся сосредоточенно просматривать старую газету, почему-то лежавшую на его столе уже вторую неделю.

– Я не люблю приказывать, – пожевав губами, сказал Струмилин, – а тем более советовать. Советуют мамы девицам. И, как правило, без пользы.

– Павел Иванович, – сказал Астахов, – я коротенько обрисую ситуацию, хорошо?

– Конечно, Сережа, я весь внимание.

– Прогноз дали на весну скверный. Лед уже сейчас начал крошиться, а до новолуния еще ждать и ждать. Пурги идут с юга, все время мучают обледенения, жалуются ребята. Я бы просил вас сначала заняться местными транспортными перевозками – надо забросить грузы на зимовки, а уже потом переключиться на обслуживание науки. Самолет ваш подготовили, так что завтра можно уходить на Тикси. Вот, собственно, и все.

– А в остальном, прекрасная маркиза, – пошутил Струмилин, – все хорошо, все хорошо!

Когда Струмилин и Богачев вышли от Астахова, Струмилин спросил:

– Кстати, вы знаете, что такое чечако?

– Кажется, новичок – по Джеку Лондону.

– Верно. Так вот, если не хотите казаться в Арктике чечако, сбейте усы. Тем более они у вас какие-то худосочные.

– Вы же не любите советовать. А тем более приказывать.

– А это ни то и ни другое. Это пожелание.

– Тогда разрешите мне все же остаться чечако.

– Как знаете.

Струмилин козырнул парню и пошел к машине.

И все-таки Богачев позвонил к Жене. Струмилинский номер телефона он нашел в отделе перевозок. Он долго ходил вокруг аппарата в нерешительности, а потом сел на краешек стола и набрал номер.

К телефону подошел Струмилин.

– Можно попросить вашу дочь? – сказал Богачев. – Это говорит второй пилот Павел Богачев.

Струмилин, слушая голос Богачева, даже зажмурился: так он был похож по телефону на голос покойного Леваковского.

– Мою дочь зовут Женя. Сейчас ее нет, она на студии. У нее сегодня ночные съемки.

– Простите, пожалуйста.

– Ерунда.

– Ну, все-таки...

Струмилин хмыкнул и предложил:

– А вы позвоните часов в одиннадцать. Она должна прийти к одиннадцати.

– Это удобно?

– Черт его знает... Думаю, удобно.

– До свиданья, Павел Иванович.

– Пока, дорогой.

– До завтра.

– До завтра.

– В шесть ноль-ноль на Шереметьевском?

– Точно.

– Ну, до свиданья.

– Привет вам. И все-таки сбрейте усы...

– Я не сбрею усов. И если вас не затруднит, спросите вашу дочь, можно ли мне написать ей из Арктики.

– Спрошу.

– Спасибо.

– Не на чем.

– Еще раз до свиданья.

– Еще раз.

И Богачев положил трубку. Он долго сидел у телефона и улыбался.

## 5

Начальник порта нервничал. Ему нужно было отправить лошадей на остров Уединения, а никто из летчиков везти лошадей не хотел.

Когда начальник порта пригласил к себе Бобышкина, командира дежурного экипажа, тот рассердился и стал кричать:

– Бобышкин – яйца вози, Бобышкин – собак вози, Бобышкин – лошадей вози! Скоро Бобышкина заставят верблюдов возить или жирафов! Хватит! У меня катаральное состояние верхних дыхательных путей, я не обязан возить ваших мерин.

– Не мерин, а лошадей! – крикнул ему вдогонку начальник порта. – И прошу тут не выражаться!

Он почему-то очень оскорбился на «мерин» и долго не мог успокоиться после ухода Бобышкина. Он чинил все имевшиеся у него карандаши и бормотал:

– Мерин, видите ли! А я могу здесь держать мерин и кормить их! Сам он мерин! Яйца ему надоело возить! А есть яйца ему не надоело? Тоже мне мерин!



Начальник порта решил пойти к Струмилину, который только что вернулся с острова Врангеля.

«Если он тоже откажется, мне в пору гнать этих проклятых кобыл по льду. Но об этом не напишут в газетах», – подумал он, и, поставив, наконец, охапку карандашей на то самое место, которое он искал уже в течение пяти минут, начальник порта поднялся из-за стола и, одернув френч, пошел на второй этаж, в гостиницу летсостава.

Струмилин сказал:

– А, милый мой Тихон Савельич, прошу, прошу!

Начальник порта вошел к нему в номер, присел на краешек кровати, вздохнул и сказал трагическим голосом:

– Ситуация очень серьезная, товарищ Струмилин.

– Что такое?

– Транспортный вопрос местного значения под серьезной угрозой срыва.

– Погодите, погодите, – остановил его Струмилин, – я что-то ни черта не понимаю. Объясните спокойнее, без эмоций.

– Лошади могут погибнуть, – сказал Тихон Савельич, – а их надо перебросить на Уединение.

– Какие лошади?

– Транспорт местного значения, так в сопроводилровке написано. Здесь у меня уже третий день в складе стоят. Никто не хочет везти. Бобышкин говорит, что ему яйца надоели, кричит, что я ему жирафов каких-то подсовываю, отказывается лошадей везти, а у меня сердце разрывается: животные страдают.

– И вы хотите, чтобы я их отвез на Уединение, да?

Начальник порта вздохнул и молча кивнул головой.

– Ладно, – сказал Струмилин, – не печальтесь. Будут ваши мерины в полном порядке.

– При чем тут мерины, я не могу понять? – удивился начальник порта. – Они такие же мерины, как я кандидат наук. Бобышкин обзывает их меринами, вы тоже.

– Мерином не обзывают.

– Неважно. Мерин – это изуродованный жеребец, а тут все в полном порядке: жеребцы и кобылы.

Струмилин рассмеялся и проводил Тихона Савельевича до двери. Богачев поднялся с кровати, зевнул, потянулся и спросил:

– Снова будем ишачить с грузами?

– Сплошной зоологический жаргон, – усмехнулся Струмилин, – что это сегодня со всеми приключилось?

– Надоело, Павел Иванович. Люди на лед летают, на полюс, а мы как извозчики.

– А мы и есть извозчики. Прошу не обольщаться по поводу своей профессии. Чкалов говорил, что, когда на самолете установили клозет, небо перестало быть стихией сильных. Vous comprenez?

– Oui, monsieur, – ответил Богачев, – je comprends bien!

Струмилин так и замер на месте. Он сразу вспомнил, как хотел ответить Леваковскому, когда тот спросил его «vous comprenez», но ответить он смог бы только «oui, monsieur», потому что больше не знал. А этот парень не засмутился, как тогда он сам, а ответил. И не два слова, а пять.

## 6

Тихон Савельевич подогнал лошадей к самолету Струмилина. Пурга только что кончилась, снег искрился под солнцем и казался таким же красным, как небо. От лошадей валил пар, потому что Тихон Савельевич гнал их через весь аэродром галопом. Экипаж еще не подошел, у самолета возились бортмеханик Володя Пьянков и второй пилот Богачев. Пьянков прогрел моторы и, выскочив из самолета, подбросил ногой пустую консервную банку прямо к унтам Богачева. Они посмотрели друг на друга, улыбнулись и начали играть «в футбол». Они сосредоточенно бегали вокруг самолета, стараясь обвести друг друга, как вправдашние футболисты, но унты были тяжелы, а меховые куртки громоздки, поэтому они часто падали и смеялись так, что Тихон Савельевич только сожалеюще качал головой.

«Не тот пошел пилот, – думал он, глядя на ребят, – не чувствуют себя пилотами, всей своей значительности не осознают. Пилот, он по земле как почетный гость ходить должен, а эти носятся безо всякого к себе уважения».

– Когда будем товар грузить? – спросил Тихон Савельевич. – Мерзнет товар, а он живой, у него тоже сознание есть.

– У лошади сознания нет, – сказал Богачев, – у лошади животная сообразительность.

– И привязчивость, – добавил бортмеханик Володя, – граничащая с женской.

Тихон Савельевич шумно вздохнул: он понял, что с этими ребятами ни о чем путным не договоришься. Надо было ждать Струмилина.

Струмилину пришел, как обычно, минута в минуту по графику вылета.

– Все готово? – спросил он Володю.

– Да.

– Все в порядке?

– Да.

– Как левая лыжа?

– Думаю, еще дня два проходим.

– Где будем менять?

– Или в Крестах, или здесь.

– Тихон Савельич, – спросил Струмилину, – а там могут лыжи сменить?

– Смогут.

Струмилину посмотрел на лошадей, потом обернулся к Богачеву и, почесав нос рукавицей, ставшей на морозе наждачной, сказал:

– Паша, давайте загонять эту скотину.

– Их ведь по трапу не загонишь, Павел Иванович, – ответил Богачев, – они не проходили стажировки в цирке.

– По доскам, – сказал Тихон Савельевич, – вы доски бросьте, а я их заведу.

– А там как?

– Там стреножим и привяжем.

– Как бы нам не привезти конскую колбасу, – сказал Богачев, – зимовщики будут огорчены, очень я почему-то боюсь этого.

Тихон Савельевич заводил лошадей никак не меньше часа. Он и ласкал их, и кричал на них, и бил их рукавицами по мордам, и подталкивал сзади, когда те упирались и не хотели идти по доскам в самолет. Со стороны это было очень смешно. Это очень смешно, если не видеть лошадиных глаз. В них застыла такая смертная, невысказанная тоска, что Струмилину даже закурил, хотя еще в Москве перед вылетом дал себе зарок никогда не брать в рот папиросы.

– Не бейте, – попросил он Тихона Савельевича, когда тот в исступлении начал колотить кулаками по крупу самую последнюю лошадь – большую добрую кобылу с длинной гривой, – не надо ее бить, давайте мы ее по-хорошему заведем.

Струмилину достал из портфеля пачку сахара, открыл ее и стал кормить кобылу с ладони.

– Мы ее по-хорошему уговорим, – приговаривал Струмилину. – Давай, лошадка, не бойся, заходи к нам в гости. Мы же здесь летаем и совсем не боимся.

Струмилину долго уговаривал лошадь, но она так и не пошла за ним в самолет.

Володя Пьянков уже несколько раз поглядывал на горизонт, становившийся все синей и синей. Иногда проносился ветер – он шел длинными стрелами, и там, где он проходил, шлопо-рился снег. Богачев понял его: Володя боялся, что погода сломается и придется сидеть здесь, вместо того чтобы вырваться на Уединение, отвезти злополучных лошадей, а там уже уйти с транспортных перевозок на обслуживание науки.

Богачев смотрел, как Струмилину бился с лошадью и кормил ее сахаром. Он долго наблюдал за Струмилиным, и чем дальше он наблюдал за ним, тем приятнее ему становился командир.

«Он очень добрый, – думал Богачев, – оттого и ворчит на нас. Ворчат только добрые люди. Злые молчаливы и улыбчивы».

Богачев подошел к Струмилину и попросил:

– Павел Иванович, разрешите, я попробую?

Богачев зашел на доски, взял лошадь за повод, обмотал его вокруг кисти и, чуть не падая на спину, потянул лошадь в самолет. Лицо его сделалось красным.

– Не надо так сильно, – попросил Струмилину, – осторожнее, Паша, мы и так знаем, что вы сильный.

Богачев еще туже натянул повод, и лошадь пошла за ним, то и дело закрывая глаза.

Когда лошадей привязали, Тихон Савельевич попросил Богачева:

– Вы там осторожнее, а то товар совсем изнервничается в воздухе-то.

– Доведем, – пообещал Богачев и помахал начальнику порта рукой.

Тихон Савельевич отошел в сторону, Володя запустил моторы, Богачев захлопнул люк, запер его и пошел на свое место – справа от Струмилины.

– А ну-ка, взлетайте, – вдруг сказал Струмилину, – я погляжу, как вы это делаете.

Сегодня он решил в первый раз дать ему штурвал. Богачев поудобнее уселся в кресле, расстегнул кожанку, достал из бокового кармана платок и вытер лоб. Все это он делал спокойно, без рисовки, и Струмилину понравилось, что он вел себя так.

Богачев развернул самолет и посмотрел на след от левой лыжи. Ее немного распорол во время какой-то посадки, и Струмилину очень волновался, как бы ее не разворотило совсем. Достаточно было попасться на взлетной площадке хотя бы одному камешку, и лыжу разворотит, а это плохо, потому что самолет может опрокинуться.

– Вроде без изменения, – сказал Богачев Струмилину, показав глазами на след лыжи.

– Хорошо.

– Можно идти?

– Спросите диспетчера.

– Сначала я спрашиваю вас.

– Благовоспитанность – вот что отличало Павла Богачева с детства, – хмыкнул Струмилину, – завидное качество представителя современной молодежи.

– Беспощадная ироничность, – заметил Богачев, – вот что отличало лучшего представителя старшего поколения завоевателей Арктики.

– Можно давать газ? – перебил Богачева Володя. – А то мы как в японском парламенте.

Струмилин боготворил Володю Пьянкова и прощал ему все: Володя по праву считался лучшим механиком в Арктике и поэтому мог говорить все всем в глаза, не считаясь с «табелью о рангах».

Когда Богачев вырулил на взлетную полосу и диспетчер разрешил ему вылет, Струмилин встал со своего места и вышел взглянуть, что с лошадьми. Как раз в это время бортмеханик Володя стал пробовать перевод винтов. Моторы взревели. Лошади заржали и заметались. Но они были крепко привязаны и поэтому сорваться не могли. Это, наверное, пугало их еще больше, и они ржали до того жалобно, что Струмилин поскорее вернулся в кабину.

– Давайте скорее, – сказал он Богачеву, – там лошади мучаются.

Володя дал газ, и самолет начал разгон.

«Взлет – прекрасен, полет – приятен, посадка – опасна», – вспомнил Богачев старую сказку пилотов. Взлет прекрасен. Самолет несся по снежной дороге, набирая скорость. Моторы ревели, и в рев их постепенно входил тугой, напряженный и злой визг. Сигнальные огни мелькали все быстрее и быстрее.

– Еще газу! – сказал Богачев и в тот же миг почувствовал, как точно и ровно Володя подбавил газу. Краем глаза Богачев увидел командира: Павел Иванович сидел, сложив руки в желтых кожаных перчатках на коленях, и покачивал головой: по-видимому, в такт какой-то песне.

Богачев осторожно принял штурвал на себя, и машина, задрав нос, подпрыгнула несколько раз подряд, а потом на какую-то долю секунды словно повисла в воздухе.

Володя сбавил режим работы моторов, и машина спокойно перешла в набор высоты.

Струмилин открыл глаза, пригладил виски и сказал:

– Молодец! Красиво.

Лицо Богачева расплылось в улыбке, и он сказал:

– На том стоим, Павел Иванович.

– Хвастовство – вот что отличало представителя молодого поколения завоевателей Арктики.

– Спокойная уверенность в своих силах, – поправил его Богачев, – которая резко отличается от хвастовства.

– Снова японский парламент, – сказал Володя.

– Французский, – поправил его Струмилин. – В японском быют физиономии, а у нас только словесный обмен мнениями.

Большую часть пути прошли спокойно, видимость была хорошая, и ветер попутный. Но когда стали снижаться, ветер изменился и стал боковым, видимость резко ухудшилась, и началась болтанка. Богачев вышел в туалет, а вернуться обратно не смог. Во время одного из кренов, пока он был в туалете, нога того коня, который вошел в самолет первым, попала между деревянными планками дубового ящика. Конь не удержался и упал. Он упал, словно человек во время гражданской казни, на колени.

«Сейчас я освобожу ему ногу», – подумал Богачев и хотел было подойти к коню, но та кобыла, которую он затаскивал силой и которая сейчас была ближе всех к нему, взбросила зад и чуть не стукнула его по голове. Богачев успел отскочить.

– Что ты? – спросил он. – Я же хочу помочь.

Он снова пошел к коню, и снова кобыла не пропустила его.

«Они теперь не верят, – решил Павел, – и ни за что не поверят».

Глаза у коня все больше и больше наливались кровью, и он продолжал молчать, а это плохо, когда глаза наливаются кровью и когда молчат при этом. Это значит, гнев так велик, что ему не излиться в крике.

Богачев хотел пройти с другой стороны, но там его не пропустил второй конь. Он тоже взбросил зад, когда Богачев хотел пройти мимо, и тоже чуть было не угодил Павлу по голове.

– Эгей! – крикнул Павел, но в кабине его не слышали из-за рева моторов.

«Идиотизм какой, – подумал Павел, – что же мне тут – сидеть?»

Минут через десять выглянул штурман Аветисян.

– Что с вами? – спросил он.

– Я в лошадином плену.

– Не можете пройти?

– Вы же видите.

– Плохо дело.

– Куда как хуже...

– А как мы будем их выводить отсюда?

– Не знаю. Думаю, без трагедии не обойдется. Чертовы лошади!

Богачев снова попробовал пройти, но снова кобыла взбросила зад, и он отскочил. Так ему и пришлось сидеть в хвосте до самой посадки...

На Уединении лошадей вывел каюр, работавший здесь на собаках. Он набросил аркан на шею кобыле, отвернул ее морду, а его помощник в это время перерезал веревки, мешавшие ей идти. Так же он вывел второго коня. Когда он вывел третьего коня, жока, и перерезал постромки, связывавшие его ноги, тот заржал и бросился от людей к торосам. Он убежал в торосы, миновал их, упав несколько раз, потому что лед обдуло и снега не было, а поэтому было очень скользко, и оказался в тундре.

Каюр гонялся за ним до ночи. Потом он пришел в зимовку и сказал Струмилину:

– Погубили вы коня. Веры в нем теперь нет.

Он взял винтовку и ушел. А через час где-то вдаль сухо хрястнул выстрел. Каюр вернулся и начал чистить винтовку в столовой. Там в это время ужинал струмилинский экипаж. Каюр долго чистил винтовку, а потом сказал:

– Акт подпишите, а то ревизий потом не оберешься.

Струмилин бросил вилку на стол и сказал:

– Торопливый ты стал, как погляжу!

– Старый, – посмотрев ему в глаза, ответил каюр, – старый я стал, Пал Иваныч. И не хорохорюсь, как некоторые.

Струмилин вышел из-за стола. Тарелка с гуляшем осталась нетронутой. Богачев поковырял вилкой в своей тарелке и пошел следом за Струмилиным.

– Живодер ты, – сказал Володя Пьянков каюру и стал наливать себе крепкий чай в большую чашку с синим рисунком, изображавшим лето в пионерском лагере.

## 7

Каюра звали Ефим. Он был старый и добрый знакомец Струмилина. В тридцать девятом году он вез его на собаках сто с лишним километров в пургу – к доктору, на противоположную оконечность острова. У Струмилина из-за воспаления надкостницы началось общее заражение крови. Вмешательство доктора было необходимо. Самолет не мог подняться из-за пурги. Тогда каюр молча пошел в котух, выпустил собак, запряг их; так же молча вернулся в зимовку и стал у двери.

А потом он вез Струмилина через пургу, и Струмилину сквозь забытие слышалось, как Ефим пел частушки.

Он прожил вместе с ним у доктора неделю, дожидаясь исхода болезни. Когда Струмилину полегчало и температура пошла на убыль, он посадил его в сани, укутал дорогим узбекским ковром и повез к ненцам. Те стояли промыслом в самом центре острова. Ненцы любили Ефима

за удаль и простоту. Он поселился вместе со Струмилиным в яранге у стариков и попросил их полечить пилота. Старики кормили Струмилину медвежьим салом и поили оленьей кровью – теплой, приторно-горькой на вкус. И очень сытной. Струмилину выпивал стакан оленьей крови и сразу же засыпал. Старики сидели вокруг него, поджав под себя ноги, и курили. Дней через шесть Струмилину проснулся ранним утром и почувствовал в себе звенящую, тугую радость. Один из стариков улыбнулся и сказал:

– Если ты хочешь любить женщину, значит ты выздоровел.

Каюр Ефим, зевая, заметил:

– Вечно вы, папаша, ерничаєте. Тут у человека зубы крошатся, а вы, извините, про это дело разговор заводите.

Струмилину захохотал, поднялся и начал делать зарядку.

Ефим смотрел на него изумленно. А старик ненец молча курил и чуть заметно усмехался.

Каюр заглянул в комнату к Струмилину, когда в столовой зимовки начался фильм. После ужина на всех зимовках Советской Арктики начинаются просмотры кинокартин. Столы в маленькой столовой сдвигаются в одну сторону, на стену вешается экран, из всех пяти или десяти комнат зимовки в столовую приходят люди, и начинается строгий, сосредоточенный просмотр. Одну кинокартину смотрят редко. Как правило, смотрят подряд две или три.

– Ты что, осердился на меня, Пал Иваныч? – спросил Ефим.

– Нет, с чего ты?

– Вилку бросил, гуляш не докушал.

– Ты здесь ни при чем.

– Тогда ладно. А я думал, ты из-за меня. Жаль коня-то, веру он потерял. Да... А как я его стрелять стал, так он левым боком повернулся. Сердцем. Я его и так и сяк – ни в какую. Зуб скалит, пену пускает, хрипит. У нас уж было так однажды. Только молодой летчик-то вез, неопытный. Ну, я и удивился: ты – и вдруг так коня спортил!

– Это не я. Это небо.

Ефим вздохнул и полез за куревом.

– Как охота? – спросил Струмилину.

– Медведя много.

– Так на него же запрет.

– То-то и оно, что запрет.

– У меня сутки отдыха: время свое вылетали. Давай сходим в океан? Нерпу забьем...

– Когда?

– Когда хочешь...

– Может, завтра поутру? У меня лунка есть хорошая. Там наши океанологи шустрят – лунка большая, нерпа на музыку прет.

– Тебе бы фельетонистом быть, Фима.

– Злости во мне мало.

– Злость – дело наживное, это не доброта.

– Ну-ну... Доброту легче нажать, чем злобу-то.

– Ладно, я с тобой спорить не могу. Легче так легче. Давай завтра в океан махнем, там поговорим на спокойствии.

– Давай. А сейчас поспишь?

– Посплю.

– Хорошее дело. Спи спокойно.

– А ты?

– Я собак пойду кормить.



## 8

Спать Струмилину не пришлось: в комнату влетел Богачев. Он сел на кровать и стал шумно стягивать с себя унты, продолжая зло чертыхаться.

– Что с вами, Паша? – спросил Струмилин.

– Злюсь, – ответил Богачев. – Кино там показывают про сталеваров – позор, да и только!

Розовые сопли.

– Не эстетично.

– Тем не менее.

– Старый, наверное, фильм.

– Позапрошлого года.

– Очень старый. Я в Москве перед отлетом смотрел картину Райзмана. «Мальчик девочку любил». Честный фильм. Мужественный и добрый.

– Я тоже смотрел этот фильм. Он называется «А если это любовь?».

– Верно. У вас хорошая память.

– Только мне этот фильм активно не понравился.

– Да?

– Да.

– Что так?

– Хлюпиков не люблю.

– Кто их любит...

– Выходит, любят, если посвящают им целый фильм.

– Вы не правы, Паша. Фильм посвящен тем, кто его смотрит: людям. И этот фильм людей предостерегает.

– Не надо людей предостерегать, – жестко сказал Богачев, – людям надо все время напоминать об их правах и обязанностях.

– Ого, – хмыкнул Струмилин, – а ну, дальше давайте.

– Дальше? А дальше этот парень из райзмановской картины должен был бы в морду дать каждому, кто не так посмотрел на его чувство. Зубами надо было драться: конституция такую драку одобрила бы, это точно. А так – герой мозгляк, и все.

– Да?

– Да. Надо уметь драться за то, во что веришь по-настоящему.

– У вас курево есть, Паша?

– Есть. Казбек, только почему-то самаркандский.

– Встречные перевозки.

– В общем он ничего, только суховатый.

Струмилин закурил.

– Нет, вкусные папиросы, – сказал он, – просто очень вкусные.

– Это потому, что запретный плод сладок.

Струмилин улыбнулся.

– Знаете, Паша, меня очень пугает, что вы, ваше поколение, слишком категоричны в оценках. И предельно рациональны. А я в молодости плакал над страданиями молодого Вертера. И при этом работал в ЧК – по борьбе с бандитизмом.

Сказав так, Струмилин смутился, потому что ему показалось нескромным то, что он сказал.

– Это неверно, – помолчав, оказал Богачев. – Вы, Павел Иванович, в двадцатые годы тоже были категоричны в оценках. И тоже предельно рациональны. Мы продолжаем вас, только мы теперь в школе изучаем и атомную физику и полеты в космос.

- Умнее вы нас, значит?
- Нет. Просто образовываемся чуть пораньше.
- Ого! – снова хмыкнул Струмилин.
- Так это ж правда, – сказал Богачев и начал раздеваться, – и потом это не наша заслуга.

Это ваша заслуга. Нам-то что, нам легче, только нас верно понимать надо. Без этого ссор будет много.

- Кого с кем?
- Отцов с детьми, Павел Иванович.
- Думаете?
- Убежден.

## 9

«Когда они говорят, они убеждены в своей правоте и верят в то, что их правда – самая верная, – думал Струмилин, глядя на уснувшего Богачева, – и это, конечно, очень хорошо. Он прав, мы были такие же. И мы сейчас тоже такие, только мы вдвое старше их и поэтому делаем больше сносок. Мы больше тяготеем к размышлению, они – к утверждению или отрицанию. Они категоричны, и, он прав, в этом дух времени. Но все-таки всякая категоричность – и отрицания и утверждения – однобока и слепа. Любая категоричность самовлюбленна, а нет ничего страшнее самовлюбленности. Потому что самовлюбленность порождает эгоизм и сухую рациональность. А это ужасно. Это одинаково ужасно и в женщине, и в политическом деятеле, и в ребенке. И потом это порождает фанатизм, а нет на земле ничего страшнее фанатизма».

Струмилин вспомнил, как следователь в кенигсбергской тюрьме кричал:

– Кретин, фанатик! Ты фанатик, понимаешь?! А фанатиков надо жечь на кострах! Их всегда жгли на кострах, и сейчас их надо жечь!

– Не фанатиков жгли, – ответил Струмилин тогда, – а фанатики жгли.

Спора у них не получилось, потому что следователь сначала разозлился, а потом стал избивать Струмилину.

Струмилин смотрел на спящего Богачева и вспоминал, как он, возвращаясь из Ирака, прилетел в Ливан. Он должен был плыть из Бейрута на польском пароходе. Он ни разу в жизни не плавал на пароходе и поэтому взял себе билет не на самолет, а на пароход. У него осталось четыре свободных дня, и он немного поездил по Ливану. Струмилин вспоминал, как он приехал к Нотр Дам дэ Либан. Моросил дождь. Капли дождя о чем-то быстро шептались с накрахмаленной листвой палым. Далеко-далеко внизу рассерженное непогодой Средиземное море хлестало тугими зелеными волнами в серые прибрежные камни. Водяная пыль висела в воздухе тяжелым табачным облаком. Оно росло, ширилось, поднималось вверх, сюда в горы, к храму Богоматери Ливана – Нотр Дам дэ Либан.

Струмилин долго стоял у балюстрады и смотрел на море. Он любил смотреть в море, когда был один. Но ему не пришлось долго смотреть в море, потому что сзади кто-то осторожно кашлянул. Струмилин обернулся. Рядом с ним стоял человек в черной сутане. Волосы у него были с проседью, борода совсем седая, а глаза удивительно мягкие и добрые.

- Добрый день, – сказал человек в сутане.
- Добрый день, – ответил Струмилин на плохом немецком языке.
- Вы пришли молиться? Сейчас начнется служба, прошу вас в храм.
- Спасибо, но я неверующий.
- Простите?
- Я неверующий.
- Вы мусульманин?

– Нет. Ну, как бы вам это объяснить? – сказал Струмилин смущенно и повертел пальцами. – Я вообще неверующий. Атеист.

Вокруг мягких глаз человека в сутане собрались мелкие морщинки.

– Как вы можете жить без веры?

– Почему же без веры? У меня есть вера.

– А... Я понимаю... Вы – оттуда... Понимаю... Но ваша вера отрицает Бога. Вам не к кому обращаться молитвы. Или у вас принято обращаться молитвы к живым?

Струмилин усмехнулся. И его собеседник тоже усмехнулся. Они внимательно посмотрели друг на друга, и Струмилин увидел в его глазах что-то такое, что его здорово рассердило.

– Христос – легенда. Это знают даже дети. Лучше – «обращать молитвы» к живым, чем к пустоте, к мертвой пустоте.

– Все мои дети верят живому Христу.

– Сколько их у вас?

Человек широко развел руками, словно обнимая мир.

– У вас обет безбрачия?

– Да.

– У вас нет своих детей?

– Нет.

– И вы счастливы?

– О да!

– Не верю я вам, – сказал Струмилин. – Нет жизни без детей.

– Все люди – мои дети. Моя мать со мной, – он поднял скорбные, добрые глаза к огромной скульптуре Богородицы Ливана, – а отец мой – бог. Он несет спокойствие людям, а спокойствие – это счастье.

– Ну, не знаю, – усмехнулся Струмилин, – по-моему, спокойствие – это скучно. И неинтересно.

– Вы же не пробовали быть спокойным. Таким, как я, – сказал человек в сутане. – Вы же сторонники опыта, а не догмы. Попробуйте, потом отвергайте.

Струмилин повернулся на другой бок и усмехнулся.

«Вот сволочь какая! – подумал он. – Правду говорят, русские задним умом сильны. Обыграл меня поп, а я и не понял тогда ни черта. Ладно. Давай-ка лучше спать, новообращенец... Завтра пойду в океан бить нерпу и смотреть медведя. Это занятие на отдыхе. Вообще на отдыхе надо людям в обязательном порядке ходить в зоопарк. Это было бы очень хорошо, если бы люди ходили на отдыхе в зоопарк»...

Струмилин снова посмотрел на спящего Богачева, и снова ему захотелось курить. Но ему захотелось курить по иной причине, не как раньше. Ему вдруг стало очень хорошо и спокойно. Он смотрел на спящего Богачева и думал: «Этого парня не переиграл бы старичок из Нотр Дам дэ Либан. Этот парень врезал бы старичку сполна, потому что он не любит церемониться».

## 10

Когда Богачев проснулся, койка Струмилины была уже пуста.

– Геворк Аркадьевич, – спросил Богачев штурмана Аветисяна, – а командир где?

Аветисян завязывал узел нового галстука, купленного Володей Пьянковым в Диксоне за баснословную сумму – два рубля девяносто копеек. Он завязывал галстук уже в десятый раз, стараясь сделать так, чтобы на узелке обязательно получился красный цветок. Поэтому он ответил не сразу, а лишь после того, как убедился, что и одиннадцатая его попытка оказалась тщетной.

– Командир уехал на собачках.

– Жаль.

– Что?

– Жаль, говорю, не знал, я бы с ним поехал.

Богачев выскочил из-под одеяла и начал делать зарядку, подойдя ближе к открытой форточке, из которой валил воздух – белый, как дым на пожаре.

– Зачем вы мучаетесь? – спросил Богачев, заметив, что Аветисян снова начал завязывать узел.

– Сколько денег человек уплатил!.. – ответил Аветисян, кивнув головой на Володю. – Двадцать девять рублей уплатил, так уж завязать надо как следует.

– Не двадцать девять, – поправил его Богачев, – а два девяносто.

– Я мыслю двумя категориями: дореформенной и пореформенной.

– Но тем не менее галстук вы завязываете неправильно.

– Что говорите?! – рассердился Аветисян. – Стильно завязываю, как надо завязываю!

– Володя, – попросил Богачев Пьянкова, – пусть Геворк Аркадьевич разрешит мне завязать.

– Я сейчас этот проклятый галстук, – сказал Володя, – пушу на ветошь. Аветисян меня с ним изводит, спать не дает, теперь ты. Вам этот галстук, как быкам красная тряпка.

– Не считаете ли вы себя тореадором? – спросил Аветисян.

– Нет. Я считаю себя идиотом. Струмилин делал мне выговоры в течение полугода из-за того, что у меня стертый галстук. Так вот я решил ублажить командира. Ей-богу, Геворк, дайте ему галстук.

Богачев сразу же завязал галстук так, как хотел Аветисян. Тот придирчиво осмотрел работу, покачал головой, пощелкал языком и, чтобы скрыть зависть, сказал неопределенно:

– В Париже это делают лучше, но... и так стильно.

Богачев засмеялся и, взяв полотенце и зубную щетку, ушел умываться. Он вернулся минут через десять и, причесываясь перед зеркалом, укрепленным на стене между окнами, сказал:

– Я бы с тем человеком, который изобрел слово «стиляга», маленько побоксировал.

– Вы меня радуете, Паша, – сказал Аветисян, – ваша непосредственность граничит с детским визгом на лужайке.

– Это не детский визг на лужайке, Геворк Аркадьевич. Слово «стиляга» производное от слова «стиль». Стиль барокко, например. Смешно, если бы про итальянских архитекторов эпохи Возрождения говорили – «стиляги», а? Кого у нас называли стильягами? Тех, кто хорошо и модно одевался. Какой-нибудь идиот, надев широкие брюки, считал себя настоящим советским человеком, а тех, кто носит пиджак с разрезом, – чуть ли не контрреволюционерами. Горький писал, что наши люди должны быть одеты красиво; кажется, он писал, что мы должны прогнать серый цвет из одежды.

– Да, но я люблю серый цвет, – высунув голову из-под подушки, сказал бортрадист Наум Брок.

Все засмеялись. Засмеялся и Богачев, хотя несколько позже остальных.

– А у нас дяди из местной промышленности решили всех одеть стариками и старухами. А тех, кто не хочет одеваться по-стариковски, клеймят и называют стильягами. Чушь какая! Вот молодежь и стала бросаться в другую крайность.

– Сказал старик Богачев, – добавил Геворк Аркадьевич.

– А как ты относишься к фарцовщикам, которые перекупают у иностранцев пиджаки? – спросил Наум.

– Плохо, – ответил Павел, – я считаю их идиотами и подонками.

– Вопросов больше не имею, – сказал Брок. – Какие будут замечания у защиты? Володя, почему ты молчишь?

- Есть хочу.
  - Что ты еще хочешь?
  - Помидор хочу.
  - Приобщаем к делу.
  - Слушай, тебе бы прокурором быть.
  - В следующем году поступлю на юридический.
  - Из тебя прокурор не выйдет.
  - Почему?
  - Ты добрый.
  - Спасибо, утешил.
- Богачев сказал:
- А ну вас к черту, ребята, я о серьезном, а вы шутки шутите!
  - Есть хочу, – тягуче повторил Пьянков, – и помидор тоже.
  - Не глумись, – попросил Брок, – Паша в полемическом запале, а ты о хлебе насущном.

Стыдно.

- А ну вас, – повторил Богачев и предложил: – Геворк Аркадьевич, пошли перед завтраком партию бильярда сгоняем, а?
- Только вы не будете меня терзать вашими разговорами, ладно?
- Не буду, – пообещал Павел, и они пошли в маленькую комнату около столовой, где стоял старый бильярд.

После завтрака Богачев надел меховую куртку и отправился гулять. По дороге он заглянул в дом к радисту Сироткину, чтобы передать ему две банки сгущенного молока для медвежонка, прозванного зимовщиками Королем Павлом. Медвежонок был совсем маленький, а поэтому ласковый. Он очень любил сгущенное молоко и игру в футбол. Радист Сироткин спал на кровати, а медвежонок лежал у него в ногах и грыз книгу. Он вопросительно посмотрел на Богачева и сразу же стал теребить Сироткина. Тот проснулся, увидел банки сгущенного молока и сказал:

- Спасибо. Что, снова радиogramму хочешь передать?
- Хочу.
- Молоко – взятка?
- Взятка.
- Сейчас я тебе раскупорю взятку, – сказал Сироткин медвежонку. – А ты пиши текст на бланке.

– Я уже написал, – сказал Богачев и положил текст радиogramмы рядом с банками сгущенного молока.

Сироткин прочитал вслух:

– «Кутузовский проспект, 52, 123, Струмилиной. Прилетел на остров Уединения. Живем тут второй день. Здесь солнце ночью. Напишите мне, потому что я жду и загадал на счастье. Богачев».

- Не пропущу, – сказал Сироткин, – это шифровка какая-то.
- Это не шифровка, – вздохнул Богачев, – это значительно серьезнее.
- Понял, Король Павел? – обратился Сироткин к медвежонку. – Любви все возрасты покорны, ее порывы благотворны... Слушай, Богачев, у нас в старину таких радиogramм любимым женщинам не посылали.

– Смущаюсь я, – сказал Богачев и нахлобучил шапку. – Передай, когда на дежурство вступишь.

- Ладно.
- Пока.

- Будь здоров, не гоняй коров.
- Будет сделано.

Богачев сказал эту фразу, подражая Райкину. Сироткин визгливо засмеялся и начал открывать банку молока большим трофейным тесаком.

## 11

Собаки бежали быстро.

– Эге-гей, кормильцы! – кричал каюр Ефим. – Вперед, вперед, нерпой накормим! Скорей дрогнули, лаечки!

Он запряг собак цугом, и сейчас, после того как они миновали торосы и вышли на хороший наст, упряжка понеслась так стремительно, что заболели щеки от снега и ветра.

Струмилин сидел позади Ефима, обхватив его руками, и смеялся.

«Считают, будто льды однообразны, – думал он. – Ерунда какая! Они прекрасны, эти полярные льды! Я понимаю Деда Мазая, и мне просто жаль тех, кто не понимает его».

Дедом Мазаем зовут в Арктике старейшего полярного аса, Героя Советского Союза, известного всей стране. Летая в Арктике, он заочно окончил Академию художеств. И сейчас, сделав посадку на лед, он сразу же ставит себе палаточку, горелку, достает краски, холст, мольберт и на сорокаградусном морозе пишет льды. Он пишет льды уже много лет, и нет для него большей радости, чем смотреть на суровый ландшафт, окружающий его, и видеть каждый раз новые цвета и оттенки, и стараться поймать их и перенести на холст, и подарить людям ту радость, которую испытывает он сам.

Собаки неслись по снежному насту, поднимая ослепительно белую пыль. Вдали, сливаясь с небом, громоздились льды. Они были красно-синие. Они светились этими цветами изнутри.

– Ты покормил собак, Ефим?

– Разве можно их кормить перед дорогой? Собак можно кормить вечером, когда они поработали. Они получают еду как награду.

– Еду – как награду?

– А как же...

– Это плохо.

– Это для людей плохо, а для собак правильно. Иначе они разбалуются, и мне придется их здорово колотить, пока я из них не выбью дурь.

Сучки, бежавшие слева от упряжки, стали падать и кататься по снегу на спине.

– Блохи?

– Нет. Это к пурге. Ну, дрогнули! – заорал Ефим. – Дрогнули, собачки! Нерпой угостим! А ну, скоренько пошли!

– Думаешь, успеем?

– Успеем.

– А откуда потянет?

Ефим оглянулся и показал рукой на северо-восток. Струмилин увидел там густо-синее небо, которое с каждой минутой все больше и больше светлело вдоль надо льдами. Оно светлело так, будто калилось изнутри. Струмилин поплотнее затянул кашне и приподнял воротник куртки.

Они успели распрячь собак, затопить в палатке газовую печку, очистить ото льда большую лунку – и началась пурга. Она пришла сразу, и все окрест сделалось непроглядно белым.

Струмилин и Ефим сидели около печки. Ефим открывал патефон, а Струмилин подбирал пластинки. Нерпы любят музыку. Они любопытны вообще, а музыку они любят, как старые девы – неперменные посетительницы всех концертов в филармонии.



Струмилин выбрал пластинку, которая называлась «Солнце скрылось за горою». Это хорошая солдатская песня, спокойная и мужественная. Струмилин сидел у газовой печки, грел над синим огнем застывшие пальцы, смотрел на зеленую воду океана, которая дышала в лунке, то поднимаясь, то опускаясь вниз, и вспоминал август сорок первого года, пыльные проселки и зной, злость и отчаянье.

– Что, загрустил? – спросил Ефим.

– Да нет, просто вспоминаю войну.

– Из-за песни?

– Да.

– А я так и не попал на войну. Не пустили. А братьев – Федю и Колю – убили. Одного в плену, а другого под Гжатском. Вот я и остался теперь один.

– Так есть же сын?

Ефим ничего не ответил и вздохнул. Он молчал, и Струмилин молчал, и оба они слушали солдатскую песню и смотрели на зеленую воду океана, которая дышала.

– Он мне прислал письмо, – сказал Ефим, – ругается, что я денег ему мало высылаю. А я ему половину всех денег шлю. Мало, пишет.

– Пошли его к черту. Отец не обязан кормить взрослого сына.

– Сын – всегда сын. Даже взрослый.

– Вот на голову и сел.

– Тебе хорошо говорить, у тебя дочка умница. И глаз за ней отцовский был. А я своего на честность пустил, вот такой и вырос.

– Честный?

– Да нет. Подлый.

– Подлость и честность – такие понятия не вяжутся, Ефим.

Струмилин сразу же вспомнил Леваковского, который погиб в тридцать восьмом году как «враг народа». Его тогда заочно исключали из партии. Все летчики голосовали за его исключение. Все верили, что Леваковский враг, потому что представитель НКВД зачитал его показания. И Струмилин тоже верил и тоже вместе со всеми гневно выступал против человека, который жил рядом, а на самом деле был скрытым врагом, чужим, холодным и расчетливым убийцей. Тогда все хладнокровие и уверенность Леваковского в себе показали Струмилину отвратительными качествами маскирующегося врага.

«Кто бы мог подумать!» – говорили летчики друг другу. Эта страшная фраза была тогда обычной, горькой, но все-таки самоочищающей.

После Пленума ЦК, когда было сказано о «перегибах», Струмилин подумал: «А что, если с Леваковским тоже?» И он написал письмо Берии. Его вызвали в НКВД, и человек в пенсне, с двумя ромбами на петлицах спросил его:

– Вы, что же, не верите нашим славным органам? Имейте в виду, сомневающийся – враг.

– Я не сомневаюсь. Я хочу знать правду и помочь правде, если она запятналась ложью.

– Чьей? – закричал человек. – Чьей ложью? Мы стиснуты со всех сторон врагами! Классовая борьба обострилась, как никогда! Частные ошибки исправлены. Общая линия – кристальна и честна! Мне стыдно слушать вас, Струмилин. Вы ли говорите это: герой и коммунист?

Человек то начинал кричать, то, глухо откашлявшись, переходил на шепот. У него были очень быстрые руки с разработанными кистями. Он то и дело передвигал по полированному столу мраморные туши чернильного прибора.

– Не знай мы вас, можно было бы расценивать ваше письмо как вражеское. Но мы тут посоветовались с товарищами, и я еще раз просмотрел дело Леваковского. Он шпион. Он сам сознался во всем, этот ваш Леваковский.

И человек протянул Струмилину два листка бумаги, на которых почерком Леваковского было написано все о связях с немецкой и японской разведками и с бухаринским подпольем.

Струмилин читал и чувствовал, как у него холодеют руки и ноги: так страшно было все написанное Леваковским. Он кончил читать, возвратил два листка, исписанных убористым почерком, и сказал:

– Спасибо, товарищ комдив. У меня больше нет сомнений.

...Лишь много лет спустя Струмилин узнал, как смогли добиться от Леваковского таких лживых показаний...

– И все-таки ты не прав, Ефим, – сказал Струмилин, поставив новую пластинку, – честный не может быть подлецом. Честный может быть обманут. Только он не может быть ни подлецом, ни трусом. Подлецом может быть враг.

Из лунки высунулась усатая мордочка нерпы. Ефим вскинул карабин.

– Не надо, – попросил Струмилин, – пусть слушает. А собакам мы раздобудем сушеной рыбы в зимовке.

– Жаль бить?

– Жаль. Не мы ее нашли, а она нас. Это не охота, это убийство...

Когда пурга кончилась, Струмилин пошел гулять. Он лазал по торосам, рассматривал медвежьи следы и жалел, что охота на медведей запрещена: следов было много, все они были свежие, не иначе как ночные.

Потом они приготовили на газовой плитке обед, выпили спирту, и Струмилин, забравшись в мешок, лег спать. Он любил спать на снегу: после такого сна он чувствовал себя помолодевшим.

Вернувшись, Струмилин первым встретил Богачева.

– Павел Иванович, ключ от замка у вас?

– Да.

– Дайте, пожалуйста, а то у меня портфель остался в самолете, а там фотографии – боюсь, отсыреют или покоребятся.

– Бегите скорей.

Богачев быстро вернулся и высыпал на стол несколько фотографий. Струмилин сидел рядом и читал газету. Краем глаза он увидел среди фотографий большой портрет Леваковского.

– Собираете фото полярных асов?

– Нет. Просто Леваковский – мой отец.

## Глава II

### 1

Женя уезжала на пять дней за город: на натурные съемки. Май выдался на редкость жаркий. Небо с утра становилось желтым и душным. Ветра не было. Работать на съемочной площадке приходилось по восемь часов без отдыха. Рыжов торопился и нервничал. Поэтому сразу же после утомительных съемок шли в дома, снятые у колхозников, и ложились спать.

Отпирая дверь московской квартиры, Женя думала только о том, как она сейчас залезет в ванну и отмоется от сухой пыли. Но, открыв дверь, она замерла в изумлении: весь пол рядом с прорезью для корреспонденции был завален бланками радиogramм. Сердце ухнуло и забилося рывками, глухо.

«Папа! – пронеслось в мозгу. – Что-то случилось с папой!»

Каждый раз, провожая отца в Арктику, Женя боялась за него и всегда с затаенным страхом ждала весточек. Отец посылал радиogramмы довольно редко. Он всегда говорил: «В Москве легче попасть под машину, Жека, чем угодить в беду в Арктике. Я же знаю ее на ощупь, как свой письменный стол. И даже немного лучше».

Женя медленно подняла с пола первую попавшуюся под руку радиogramму и, прежде чем распечатать ее, долго стояла, переводя дыхание. Потом она резко вскрыла радиogramму.

«А сегодня солнце синее. Небо красное. А льды голубые. И мне до того хочется видеть вас, что в пору выть. А вы даже ни разу не послали мне ответа. Богачев».

Женя ничего не поняла, а потом прочитала текст радиogramмы еще раз.

– Чушь какая-то, – сказала она вслух.

Она посмотрела адрес – правильно. Фамилия адресата – тоже. Женя подняла следующую радиogramму. Распечатала ее.

«Сегодня мы летели на Чокурдах, и я видел двух медведей на льду. Они тоже увидели нас, и остановились, и смотрели на нас, задрав морды. Богачев».

Женя улыбнулась. Подняла еще одну радиogramму.

«Через неделю у меня день рождения. Мне будет двадцать пять. Я бы мечтал отпраздновать его в “Украине” вместе с вами, как в последний день перед отлетом. Богачев».

Женя нахмурилась, вспоминая.

«Боже мой, так это же тот медведь, с которым я танцевала тогда! Почему он в Арктике? И почему летает? Ничего не понимаю!»

Женя стала поднимать радиogramмы одну за другой. Десять было от Богачева. Одна от отца.

«Жив, здоров, Жека. Целую тебя. Будь молодцом и не хандри. Привет тебе от Богачева. Отец».

Женя засмеялась.

«Это наваждение, – сказала она себе и пошла в ванну, – папа тоже о нем».

Женя лежала в ванне и перечитывала радиogramмы Богачева. Сначала она смеялась, а потом стала вспоминать Богачева. Он представился ей каким-то необыкновенно высоким и сильным. Лица его она не запомнила. Просто ей виделся высокий и сильный человек, но отчего-то все время со спины.

Женя намылила голову шампунем. Она промывала волосы и продолжала думать о человеке, который засыпал весь пол в передней радиogramмами. Ей было приятно думать о нем. Так ей было спокойней – думать о нем сейчас.

Во время натурных съемок, после ночной смены, уже на рассвете, в дом, где остановилась Женья, пришел Ника. Он сел к ней на кровать, нагнулся к ее лицу и поцеловал в висок. Женья проснулась.

– Кто? – спросила она испуганным шепотом.

– Я.

– Зачем ты пришел?

– За тобой.

– Уходи отсюда, Ника, мне не хочется, чтобы ты был тут.

– Почему? – тихо спросил Ника и сильно обнял ее.

– Потому, что ты трус. И мне сейчас смешно. А это очень плохо, если смешно, когда обнимает мужчина.

Ника обнимал ее все крепче. Потом, тяжело дыша, он стал целовать ее в грудь.

«Сейчас я разбужу хозяина, – подумала Женья, – будет очень стыдно».

Она попробовала оттолкнуть Нику, но он не выпустил ее из рук. У него были не сильные руки, но очень цепкие. Он снял с нее простыню и лег рядом.

– Ну прости меня, прости, Женечка, – шептал он, – я больше никогда не буду, никогда...

Ей было все время противно, а сейчас, после его слов, стало смешно. И Женья рассмеялась. Он замер на секунду, а потом рывком встал.

Женья продолжала смеяться.

– Что, истерика? – спросил Ника.

– Да нет, – все еще смеясь, ответила Женья, – просто мне очень смешно.

Ника пошел к двери. Женья смотрела ему вслед, уже перестав смеяться, но ей было очень смешно, и внутри все тряслось от сдержанного смеха.

«Сейчас я возьму реванш еще раз, – решила Женья. – Очень нехорошо издеваться над человеком, но он трус, и к тому же еще слабенький».

– Куда же ты уходишь? – шепотом спросила Женья, когда Ника открыл дверь.

Он замер у порога, а потом, осторожно прикрыв дверь, быстро пошел к ее кровати и снова сел на край. И Женья снова рассмеялась ему в лицо. Она увидела, как у него под кожей щек заходили желваки. В рассветных сумерках его худое, тонкое лицо казалось измученным и сильным.

– Ты... ты... ты, – говорил он, задыхаясь, – ты ведешь себя, как... как гетера!

Женья снова засмеялась. А когда он ушел, она подумала: «Боже мой, ко всему он еще и многозначительный дурак».

Женья тщательно промыла волосы, вылила воду и стала под душ. Она стояла под душем, закрыв глаза, подставив лицо острым струйкам воды.

«Смешно, – подумала Женья, – но мы, обидев мужчину, все равно чувствуем обиженными себя. А когда себя чувствуешь обиженной, тогда все вокруг плохо и гадко. Наверное, мама себя никогда не чувствовала обиженной. Это всегда зависит от мужчины. Сильный мужчина никогда не может обидеть. Он может дать пощечину за подлость, но он никогда не обидит».

Потом Женья поставила себе чай и сделала два бутерброда из сухого, хрустящего хлеба с сыром. Она сидела на кухне, пила чай и все время чувствовала, что ей не хватает чего-то. Она никак не могла понять, чего же ей не хватает, и это очень сердило ее.

«Газету я сегодня читала, – вспоминала Женья, – звонить мне явно никуда не надо, я свободна до послезавтрашнего утра, но что-то мне сейчас обязательно надо сделать».

Она поднялась и пошла в ванну. Там Женья взяла со столика радиogramмы Богачева, сложенные стопкой, улыбнулась и, возвратившись с ними на кухню, стала перечитывать их еще раз.

## 2

В Нижних Крестах экипаж Струмилина заночевал. На втором этаже в гостинице летного состава было все забито сверх всякой меры, и экипаж Струмилина поселили в маленькой жаркой комнате, отделенной от общежития пассажиров-транзитников тонкой стеклянной перегородкой. В общежитии три часа без перерыва лысый милиционер играл на гармошке песни. Играл он по-деревенски: виртуозно, громко и с «куплетом». Он вдруг высоким голосом выкрикивал один куплет песни, а потом продолжал играть молча. Так, изо всей песни «Тонкая рябина» он спел только две строчки:

Головой склоняясь  
До самого тына...

В «Полюшко-поле» он пропел:

Это Красной Армии герои,  
Эх, да Красной Армии герои!

А потом минут десять продолжал вариации на тему этой песни, но варьировал так громко, что Аветисян, не выдержав, открыл дверь в общежитие и попросил:

– Товарищ милиционер, мы не спали шестнадцать часов, в воздухе были, – нельзя ли потише?

– Можно, – ответил милиционер, вздохнув, – только тише я не умею. На гармошке всегда громко играть положено.

– Прекратите ваше шмонцес, уважаемый раввин, – сказал Брок и поднялся с кровати. – Сейчас я вам покажу, как на гармошке играют тихо.

Он подошел к милиционеру, взял у него из рук гармонь и, осторожно перебрав клавиши своими тонкими пальцами с ногтями, обгрызенными до крови, стал играть колыбельную.

Спи, моя радость, усни,  
В доме погасли огни...

Милиционер засмеялся. Наум, не обратив на него внимания, продолжал петь:

Мышка за печкою спит,  
Дверь ни одна не скрипит,  
Спи же скорее, усни,  
Малыш...

Потом Наум запел еще тише, по-еврейски:

Шлоф, мейн кинд,  
Формах ди ойгн.  
Шлоф, мейн тайер кинд,  
С'из ан одлер дурхгефлойгн,  
Зайн золсту ви эр...

Милиционер замотал головой и, зажмурившись, стал подпевать Науму. Слух у него был прекрасный, он поймал мелодию, и они пели колыбельную на два голоса. А это очень здорово, когда двое мужчин хорошо поют колыбельную песню. В этом нет никакой сентиментальности, в этом есть большая доброта и мужественность.

Когда они кончили петь колыбельную, милиционер спросил:

– А на том языке, что Торрес поет, можешь?

– Нет.

– Эх, очень я обожаю, когда не по-русскому поют, но чтоб со слезой, по-нашему. Торрес и Бернес – нет для меня лучше певцов, душой поют, не горлом!

Ночью милиционер улетел, а на его койку и раскладушку, поставленную около двери, поселили двух уголовников, освобожденных из заключения. Один из них зашел в комнату струмилинского экипажа и спросил простуженным голосом:

– Пилоты, продажного спирту нет?

Струмилин, читавший сказку Сент-Экзюпери, ответил шепотом:

– Тише вы, люди спят!

– А спирту, спирту нет?

– Нет спирту, идите спать.

– Адью, – сказал уголовник и осторожно прикрыл за собой дверь.

Утром уголовники согнали с кровати какого-то старика, летевшего из Якутска к дочке в гости на зимовку, купили в магазине коньяку «Йонесели» и начали пить. Они пили отвратительно и так же отвратительно закусывали. Они пили не глотками, как все, а выливали содержимое целого стакана в горло без глотков, сразу. А потом ели консервы – рыбу в томате – руками, капая на простыню и одеяло. Когда один из пассажиров сделал им замечание, уголовники стали смеяться и громко рыгать. А потом они стали издеваться над всеми пассажирами.

– У тебя нос длинный, – говорили они одному и щелкали его по носу.

– А у тебя курносый, – говорили другому и тянули его за нос. – Закон курносых не любит.

Пассажиры молчали. Богачев, оставшись после завтрака в комнате один, слушал происходившее за перегородкой и тяжело сопел.

«Что же они молчат, как кролики? – думал он. – Один раз дать по физиономии – и все станет на свои места».

– Ты, мордастый, – продолжали куражиться уголовники, – пойдешь в магазин, купи нам коньяку.

Богачев вскочил со своей койки, рывком открыл дверь и гаркнул:

– А ну, прекратить хулиганство!

– Этому гражданину надоело, кажется, жить, – сказал один уголовник другому. – Коля, поддержи мой макинтош... Летчик, не вмешивайтесь в чужую жизнь.

– Если еще раз к кому-нибудь пристанете, шею сверну, – пообещал Богачев.

– Шею сворачивать нам нельзя. Мы исправились. Мы тогда, летчик, посадим тебя на десять суток за хулиганство и за оскорбление.

Двое пассажиров, воспользовавшись этим разговором, быстро ушли из комнаты. Осталось три человека: старик и два молоденьких парня.

– Дед, – просили уголовники, когда Богачев вернулся к себе, – станцуй нам падеспань, а мы тебе похлопаем.

– Да что вы, ребята! – сказал дед. – Не надо.

– Танцуй.

– Не умею я...

– Танцуй, падла!



Богачева подбросило. Он ворвался в соседнюю комнату, и через минуту один из уголовников лежал на полу с разбитым лицом, а другой, стараясь вырваться из рук Богачева, выл:

– Ой, пусти, пусти, пусти!

Богачев со всего размаха швырнул его на пол.

– Еще раз начнете – изуродую!

Из комнаты выскользнули два паренька и старик. Богачев снова ушел к себе и лег на койку. Через несколько минут к нему заглянул уголовник с разбитым лицом и спросил:

– Пилот, у вас нет продажного спирту?

Тогда второй уголовник стал толкать его в спину и кричать:

– Пусти, Коля, я с него потяну права!

– Молчи, капуста! – цыкнул на него тот, что стоял в двери. – Пилот мускулистый, он сделает тебе форшмак детского питания. Пилот, ответьте на вопрос, будьте вежливы!

– Я сейчас продам тебе спирту, – пообещал ему Богачев и сделал вид, что собирается встать с койки.

Уголовник стремительно отпрянул от двери, сбив с ног того, что стоял у него за спиной.

– Хорошо, хорошо, – сказал он, – только не надо сердиться. Мы уважаем мускулистых пилотов.

Когда экипаж вернулся с аэродрома, Богачев рассказал Струмилину про двух уголовников.

– А что вы хотите? Они кичатся своим воровским кодексом чести, а никакого кодекса нет. У них, как у животных, сильный есть сильный, он и хозяин. Мы с ними чересчур цацкаемся, в либерализм играем, добренькими быть хотим.

– И с убийцами тоже, – добавил Володя Пьянков. – Он убьет «со смягчающими обстоятельствами» – ножом, а не топором, или топором, но не шилом, – вот ему пятнадцать и дают вместо расстрела. А убийца – он неисправимый. Око за око, зуб за зуб: у Наума предки неплохо продумали этот вопрос. Я человек добрый, но убийцу персонально расстрелял бы и даже водки потом пить не стал для успокоения.

– Пьянков стал Демосфеном, – сказал Брок, – за два года я не слышал от него больше пяти слов за один присест, а тут – так прямо речь.

### 3

Струмилину вызвали в отдел перевозок.

– Павел Иванович, – сказали ему там, – огромная просьба к вам.

– Огромная?

Струмилинского шутилого вопроса не поняли и поэтому повторили:

– Да, огромная. Наш дежурный экипаж загрипповал. А рыбаки стонут в Устье: рыба в лед вмерзает. Да и у нас тут свежие помидоры для них пришли – третий день в электростанции храним. У вас сейчас по графику что?

– Сначала отдых, а потом горячее на острова надо забросить.

– Может быть, вы согласились бы заменить наш дежурный экипаж? Сходили бы к рыбакам?

– С удовольствием.

– Правда или издеваетесь?

– Недоверчивые вы какие... – засмеялся Струмилин. – Конечно, ходим к рыбакам!

Он вернулся в общежитие и, остановившись на пороге, сказал:

– Подъем, мальчики, рыбу надо возить!

– Когда же настоящее дело? – сонно спросил Павел. – Наука-то когда? Надоело бочки возить.

– А спать вам не надоело? Вы спите, как бурый медведь в зимнее ненастье. Тому, кто первым поднимется и умоется, обещаю помидор.

– Банку болгарских томатов? – поинтересовался Пьянков из-под одеяла. Он спал около окна, форточка была открыта, потому что было жарко натоплено, и он лежал, укрывшись с головой, чтобы не простудиться.

– Нет. Настоящий, свежий помидор, привезенный из парников.

– Что? – быстро спросил Брок и вскочил с кровати. – Неужели свеженький?! Для меня свежий помидор, что для быка красная тряпка! Я готов на бой, Павел Иванович!

– Считайте помидор съеденным, Нёма.

– Дискриминация, – пробасил Пьянков и сразу поднялся с кровати, – я тоже хочу.

– Жду вас у самолета, – сказал Струмилин. – Возьмите у диспетчера погоду. Живей, ребята, живей!

Когда Струмилин вышел, Богачев спросил:

– Геворк Аркадьевич, что это с командиром?

– Вы о чем?

– Он как-то особенно рад этому рыбному полету.

– А, вы об этом... Командир любит летать к рыбакам и на фактории к охотникам. Там у него много старых знакомых. Его всегда направляют на самые трудные трассы – в океан; здесь-то уж все облазили, тут и новички могут. Ну, вот он и рад к знакомцам слетать. Его все колхозники-поморы знают: от Чукотки до Архангельска.

– Читали книжки о нем?

– Нет. По бочкам они его знают.

– Как?

– По бочкам, – повторил Аветисян, улыбаясь. – В первые годы после войны в поморских колхозах – хоть шаром покати. Тогда бочку в хозяйство заполучить – что золотой слиток найти. Ну, Павел Иванович, глядишь, над одним колхозом в сутроб пустую бочку бросит, потом над другим...

– И колхозники находили?

Аветисян даже присвистнул:

– Колхозники, милый, все найдут. Да еще тогда... Они бы иголку нашли, сбрось мы ее с самолета. Два выговора Струмилин получил, а денег у него вычли – три зарплаты, не меньше... Ну, вы готовы?

– Да.

– Оденьтесь потеплее.

– Я надел джемпер.

– Можете надеть второй, не помешает – на реке сильный ветер.

Самолет шел низко, повторяя в воздухе причудливый путь реки.

– Я чувствую себя лыжником-слаломистом, – сказал Павел Струмилину.

Тот кивнул головой и спросил:

– А подводным пловцом-аквалангистом вы себя не чувствуете?

Павел засмеялся и отрицательно покачал головой.

Аветисян грыз кончик карандаша и смотрел в иллюминатор. Пойма реки, над которой сейчас шел самолет, была удивительно похожа очертаниями на то место, где он встретил войну. Его перебросили из Читы на западную границу двадцать первого июня сорок первого года. Он приехал ночью на аэродром, расположенный на берегу реки, и пошел купаться с летчиками. Ночь кончалась, занимался рассвет. Вода была теплая и мягкая. По берегу стояла осока. Выкупавшись, Аветисян нарвал охапку осоки и стал натирать ею белье, только что выстиранное им в реке. От осоки, от свежей ее зелени остается хороший запах – так делала его бабушка в Ере-

ване, Аветисян помнил это. А потом с аэродрома прибежал старшина и закричал страшным голосом:

– Война!

Аэродром был перекопан: его переоборудовали. Командир полка пытался возражать: люди, стоявшие на границе, чувствовали, что на той стороне Буга происходит по ночам что-то неладное. Из Москвы командир полка получил нагоняй. Его обвинили в паникерстве и политической слепоте. Аэродром начали переоборудовать. Все самолеты полка были сожжены гитлеровцами в первый день войны. Аветисян отступал с пограничниками. 29 июля его ранило под Смоленском. В госпитале его раздели. Заплаканная сестра, стаскивая с него изорванную, окровавленную рубашу, увидела ссохшуюся осоку.

– Кто это сек вас? – улыбнулась сестра сквозь слезы.

Аветисян ни разу не раздевался тридцать три дня, отступая. Так и пронес он сотни страшных километров у себя за спиной вещественную память мира – зеленую молодую осоку, которая дает такой хороший запах свежeweыстиранному белью...

– Здесь по берегам много белых куропаток, – сказал Струмилин, – жаль, что я не взял из дому мелкашку.

– А из пистолета? – спросил Павел.

– Вы не охотник, Паша. Охота – очень гуманный вид спорта, ему противен дух убийства. Бить куропатку из пистолета – ей-богу, это зверство.

– Софистика, Павел Иванович, – жестко возразил Павел. – В конце концов результат один – куропатку бьют. А из чего – из пистолета ли, из ружья – разница не велика, да и куропатку это не интересует. А самоуспокоение – оно вроде бы от христианства, а?

Струмилин поначалу терялся, когда слушал такие резкие возражения Павла. Сначала ему показалось, что это от бестактности, но потом он понял, что это идет от непримиримой веры парня в то, что он утверждает. Отсюда резкость и кажущаяся грубость.

«Это хорошо, – подумал Струмилин, – мы сейчас забыли нашу комсомольскую заповедь: “Все в глаза, как бы горько это ни было”. Дипломатия в нас появилась, мягкими хотим быть. А этот рубит, молодец, парень!»

Сзади чертыхнулся Брок.

– Что, Нёма? – спросил Струмилин.

– Я сейчас слушал наших океанологов.

– Это каких?

– Станцию «Наука-9».

Струмилин нахмурился, вспоминая координаты океанологов, высаженных на лед океана.

– Они неподалеку от станции Северного полюса?

– Да. У них очень плохо.

– Что?

– Лед прошило трещиной, теперь там садиться – кружева плести.

– Будут уходить?

– Нет. Передают: ерунда, работа идет хорошо, будут сидеть, аврала пока нет, хотя ледовая обстановка вшивая.

– Какая?

– Отвратительная.

– Это точнее. Как руководство экспедицией?

– К ним вылетает Годенко. Да они же не уйдут, если хорошо работается. Вы же знаете их: одержимые, наука – и все тут.

– Передайте им от меня «88».

– Хорошо.

– Что? – удивился Павел.

– Вы плохо занимались радиоделом, Паша. «88» у коротковолновиков значит: «люблю и целую».

...Та часть рыбы, которую не успели уложить в ящики, вмерзла в синий пузырчатый лед.

– Любопытно, – сказал Павел, опустившись на корточки, – вот в тех пузырях во льду есть жизнь или нет? В общем-то если там воздух, то, значит, должна быть.

– Пашенька, не мучайте себя вопросами такого глубокого философского смысла, – посоветовал Аветисян. – У нас в Ереване живет академик Амбарцумян, он занимается этими вопросами лучше, чем вы.

– Вас понял, – отозвался Павел задумчиво, – перехожу на прием. Академику Амбарцумяну от меня передайте «88».

Аветисян засмеялся и заверил Богачева официально:

– Почту за честь.

Павел не удержался и спросил:

– Геворк Аркадьевич, а почему у вас в Закавказье говорят не «честь», а «чэсть»?

Аветисян ответил сразу:

– Так, дорогой, звучит возвышеннее. Мы, армяне, романтической души люди, в горах живем, рядом с орлами. Есть еще вопросы?

– Вопросов нет.

– Тогда пошли, поможем загружать рыбу в машину.

Рыбакам трудно загружать рыбу, потому что их одежда покрыта ломкой корочкой льда.

Старый струмилинский знакомый дядя Федя, ответственный в артели за сдачу рыбы, суется, говорил пилотам:

– Что вы, ребята, не тревожьтесь, мы сами зараз управимся.

– Да погрейтесь идите, – предложил Пьянков, – а нам мышцами потрясти, поразмяться – одна радость. Вы ж продрогли совсем.

– Так нешто подо льдом холодно? – удивился дядя Федя и постучал красными квадратными пальцами по ватнику, схваченному льдом. – От холода, обратно же, холодом защищаемся!

– Пошли, пошли, Федя, перекурим, а там подсоединимся к ребятам, пошли – погреешься, ты ж нас ждал два часа на ветру.

– Ветер не огонь, его стерпеть можно.

– Герой, что говорить! Ну, пошли, ребят посмотреть хочу, не виделись бог знает сколько времени.

– Так, Пал Иваныч, ты ж сушей пренебрегаешь, все по воздушям, – отозвался дядя Федя, – над океанами паришь...

Они вошли в маленькое зимовье, срубленное прямо на берегу. Здесь жила артель. Шесть рыбаков сидели вокруг стола. От ватников валил пар, потому что здесь было натоплено сверх меры. Рыбаки сидели, тесно прижавшись друг к другу, и молча ели помидоры, привезенные Струмилиным.

– Поклон поморам! – сказал Струмилин.

У рыбаков были горячие, влажные руки, мозолистые и сильные. Струмилин поздоровался с каждым по очереди, а потом сел рядом с артельным, в центре стола.

– Спирту, папаша, – попросил артельный.

Дядя Федя пошел к нарам и принес оттуда две бутылки спирту.

– Разлейте, папаша, за гостей поднимем.

Дядя Федя разлил спирт ровно и быстро. Струмилин накрыл свой стакан ладонью.

– Что?

– Мне не лейте, нельзя.

– Неуважение будет, – сказал артельный.

– Упадём мы из-за спирта.

– Падать не надо: об лёд больно, и обратно, рыбу некому возить будет. Тогда ваше здоровье, Павел Иванович, и всех доблестных летчиков.

– Что это ты высоко заговорил так, Леня?

Дядя Федя хихикнул:

– Он у нас агитатором работает, по линии общества. Со мной тоже так разговаривать стал, хоть шляпу для солидности надевай.

Рыбаки посмеялись, выпили и закусили помидорами.

Артельный Леня выпил последним и сказал:

– Вы, папаша, человек старый и многого в нашей жизни не понимаете, а перед гостями на меня позор наводить – нехорошо. Как я с вами говорил раньше, так и теперь говорю...

– Да я шучу, чудной, – сказал дядя Федя, – нешто гость не понимает?

Потом все подошли к самолёту и стали ломиками выбивать рыбу, вмерзшую в лёд. Струмилин тоже взял ломик и начал работать вместе со всеми. Он глубоко вдыхал холодный воздух и весело щурился, потому что в ледяных брызгах, искрой вылетающих из-под ломиков, звонко всплескивалось сине-красное солнце и слепило глаза.

Струмилин работал радостно и споро. Он сделался мокрым, плечи болели хорошей усталостью, а дыхание очистилось от папиросного перекура и стало чистым и глубоким.

«Надо обязательно физически работать, – думал он, – без физической работы человек гибнет лет на тридцать раньше, чем положено. Обязательно начну что-нибудь копать...»

Вдруг Струмилин, слабо охнув, опустил руки с ломиком и замер.

– Что, ушиблись? – спросил Аветисян.

– Нет, – тихо ответил Струмилин и почувствовал, что сильно бледнеет, – немного совсем. Чуть-чуть...

Он не ударился. Просто в сердце вошла боль, острая и неожиданная. Так у него было три раза. Он пугался этой неожиданной и страшной боли, но она довольно быстро проходила, а потом оставалась слабость, как после бессонницы.

«Черт возьми, неужели же это настоящее что-нибудь? – думал Струмилин, опускаясь на лёд. – Неужели это настоящая болезнь сердца?» Но прошло несколько минут, и Струмилину показалось, что боль прошла совсем. Он положил под язык таблетку валидола и улыбнулся.

«Нет, ерунда, – решил он, – просто, наверное, устал. Поедем к морю с Жекой, и все пройдет. Это уж точно...»

Никто, кроме Аветисяна, ничего не заметил, потому что и Пьянкову, и Броку, и Богачеву не было ещё тридцати. И хотя дяде Феде было за семьдесят, он не знал, в какой стороне груди бьется сердце, потому что всю свою жизнь он занимался только одним: ловил рыбу.

## 4

– Кто хочет пойти в баню? – спросил Аветисян.

– А где? – удивился Пьянков. – День-то сегодня не банный.

– Ориентировка на местности, милый...

– Где баню сориентировал?

– В подвале электростанции. Вполне приличное помещение.

– Крыс нет?

– Есть, но они сытые и на такого тощего, как ты, не польстятся.

– Тогда я за баню, – сказал Брок и стал доставать из портфеля чистое белье и мыло.

В подвале электростанции было темно и холодно. Летчики шли друг за другом, натываясь на какие-то трубы, куски металла и ободья от бочек. Они сдержанно чертыхались. Аветисян пробирался первым и все время приговаривал:

– Ничего, ничего, скоро мы выйдем на цель.

«На цель» они вышли не скоро: Аветисян забыл короткий путь, фонарика они с собой не взяли, светить могли только спичками и поэтому чем дальше шли, тем яростней чертыхались.

– Сейчас, сейчас, – успокаивал Аветисян, – последний отрезок остался.

Когда они пришли в помещение, которое так расхваливал Аветисян, Струмилин пристынул и сказал:

– Нет, дорогие мои, я в этом спектакле не участвую.

Помещение было темное и грязное. Горячую воду надо было брать из котлов, которые все время глухо урчали и, казалось, должны были с минуты на минуту взорваться. Холодная вода, которой следовало разбавлять кипяток, почему-то из бака не шла.

– Это ничего, – сказал Аветисян, – небольшой перерыв, а потом пойдет. В общем, кому не нравится, может отмежеваться. Лично я буду мыться, я уже мылся тут три раза, и очень мне нравилось.

– Я повременю, – сказал Володя и ушел вместе с командиром.

Богачев, Аветисян и Брок остались. Они разделись и только тогда почувствовали, как здесь холодно. Понизу дул сквозняк, и Богачев, как гусь, поджимал пальцы и переваливался с ноги на ногу. Аветисян открыл кран и набрал кипятку в три больших таза. Потом он попробовал долить их холодной водой, но холодной воды до сих пор не было. Где-то рядом работал мотор на плохом топливе, и поэтому через пять минут три товарища стали грязно-серого цвета.

– Скоро будет холодная вода? – сухо осведомился Брок.

– Сейчас, сейчас, – пообещал Аветисян и куда-то ушел.

– Веселая у нас получается баня, – сказал Брок и стал бить себя по спине, чтобы согреться.

Они скакали на месте и били себя по спине и по плечам, чтобы согреться, но им становилось все холоднее, а в довершение ко всему вошел неизвестный дядька в ватнике и закричал:

– Разрешение от Дим Димыча есть?

– Нету.

– А ну, вон отсюда!

– Да что ты, дядя? – взмолился Богачев. – Мы же как негры теперь, дай хоть отмыться.

– Разрешения у вас нету – не могу!

– Потом принесем.

– А почему я знаю, кто вы такие? Электростанция – объект, а не шутки, а вы тут голые бегаете. Одевайтесь, не то за милицией пойду.

В этот критический момент вошел Аветисян.

– Ой, миленький, – застонал он, – а я тебя по всему подвалу ищу, давай холодной воды скорее!

– А разрешение от Дим Димыча есть?

– Есть, есть, – закивал головой Аветисян и вытащил из портфеля, в котором держал белье, два рубля.

Человек в ватнике спрятал деньги и отошел к стене. Там он нажал какую-то кнопку, и сразу же пошла холодная вода.

– Сейчас веников принесу, – сказал он и вышел.

Мылись в молчании, проклиная Аветисяна. Было по-прежнему холодно, а вода отдавала мазутом.

Вернувшись к себе, они сказали Володе Пьянкову:

– Слушай, это не баня, а сказка. Иди, пока не поздно, там и веники есть.

– Давайте, давайте, – сказал Пьянков, – осторожнее на поворотах, здесь пришибленных в детстве нет.

## 5

Уже около самолета экипаж Струмилина догнал запыхавшийся диспетчер. Он отозвал в сторону Володю и попросил его:

– Отдай на Диксоне Галочке с радиостанции, – и передал две рыбины.

– Нельмы?

– Да.

– На строганинку?

– Да.

– Не возьму.

– Почему?

– Испортятся. Нам еще до Диксона ходить и ходить.

– Да нет же. Сейчас вам приказ передадут: взять на Тикси науку и переходить в Диксон.

– Командир! – крикнул Володя радостно. – На науку нас переводят!

Богачев запрыгал на одной ноге, как мальчишка. Диспетчер засмеялся. Богачев покраснел и стал делать вид, что прыгал он не от радости, а потому, что в унту попал камешек.

Струмилин и Аветисян переглянулись, и Брок увидел в глазах командира ту нежность, которую он уже не раз замечал, когда командир смотрел на Павла.

– Какие будут ЦУ? – спросил Володя диспетчера, забрасывая рыбины в самолет.

– Главное ЦУ – не расплавьте мой подарок, рыбка хорошо заморожена, упаси бог, потечет!

– Я положу в хвост.

– Спасибо.

– Так, значит, ЦУ не будет?

– Он сейчас нам ОВЦУ даст, – предположил Брок, – все диспетчеры очень любят давать не просто ЦУ, но обязательно ОВЦУ.

Богачев, слушая этот разговор, спросил у Аветисяна:

– Геворк Аркадьевич, они сейчас по-датски изъясняются или как?

– По-советски, – ответил Аветисян. – ЦУ – значит «ценные указания», а ОВЦУ – «особой важности ценные указания». В толковом словаре у Даля таких слов нет, но они экономны и выразительны, в этом спору нет. Они – памятники эпохи.

– Есть спор, – возразил Богачев, – так испортили язык! Я вообще скоро из протеста на славянский перейду. Чтобы поломать эти памятники эпохи.

– Что же тогда делать нам? – поинтересовался Аветисян. – И вообще не националист ли вы, Паша?

– Вы заведете себе переводчика, – сказал Богачев, – или я выучу армянский.

– Последнее меня устраивает, а то с переводчиком себя чувствуешь иностранным туристом.

Когда поднялись в воздух и легли курсом на Тикси, Брок принял радиограмму с предписанием зайти в Тикси и забрать экспедицию.

– Правду говорил рыбак-то, – сказал Богачев, – теперь летаем по-настоящему.

Самолет шел над тундрой. Солнце катилось по снегу огромным белым диском. Заструги ломались скифскими луками. Снег сливался на горизонте с таким же синим небом, и от этого казалось, что далеко впереди океан.

Брок передал Струмилину радиogramму из Чокурдаха. На бланке он записал направление и силу ветра, температуру воздуха и прогноз. Струмилин бегло просмотрел радиogramму и передал ее Богачеву.

– Сегодня будете сажать машину, – сказал Струмилин.

– Есть.

– Ветер только сильный.

– Ерунда, – сказал Пашка, – я ее усажу, как ребенка.

Струмилин вздрогнул и быстро взглянул на своего второго пилота. Павел поправлял палочку автопилота, выправляя курс. Курносый нос, обгоревший на холодном солнце, шелушился.

«Он совсем не похож на отца, – подумал Струмилин, – а сейчас сказал точную фразу Леваковского. Откуда в нем это? Ведь он не мог знать отца: тот погиб, когда ему было три года...»

– Откуда вы знаете эти слова?

– Какие?

– Ну вот эти – «усажу, как ребенка».

– А... Сыромятников мне говорил, что это любимые слова отца.

– Верно.

– Мне очень нравятся эти слова.

– Мне тоже. Слушайте, Паша, извините за нескромный вопрос, а почему у вас другая фамилия?

– Это мать. Она отдала меня в детдом, когда все случилось. Потом вышла замуж и уехала во Владивосток. А когда меня направили в ремесленное училище, она сказала, что мои метрики пропали и что фамилия моя Богачев. Это фамилия ее отца, а он жил в Минске, а там все записи в загсе пропали в войну, и никто не мог проверить. А уж после того как моего отца реабилитировали и ей вернули его Золотую Звезду, она мне все написала.

– А почему вы сейчас не возьмете свою настоящую фамилию?

Богачев долго молчал, а потом ответил:

– Это для меня – как в партию вступить. Думаю, еще рано. Я – Богачев, а Леваковским мне надо стать.

В Чокурдахе дул сильный боковой ветер.

– Ну как? – спросил Струмилин. – Будете сажать?

– Если разрешите – конечно!

– Разрешаю.

Володя Пьянков занял свое место: на маленьком откидном стульчике между Струмилиным и Богачевым. Он привычно глянул на показатели приборов и сложил руки на коленях, готовый выполнить любой приказ пилота точно и незамедлительно.

Богачев мастерски и легко выполнил «коробочку», а потом повел самолет на снижение. Струмилин не смотрел в сторону Богачева. Он смотрел прямо перед собой и видел ровное снежное поле метрах в ста слева от самолета.

«Слишком большое упреждение берет парень, – думал он, доставая из кармана папиросы, – упадем в торосы, ноги поломаем...»

– Шасси! – командовал Богачев.

На щитке загорелся зеленый свет: шасси выпущены.

– Семьдесят метров, – начал отсчитывать высоту Пьянков, – семьдесят метров, шестьдесят метров, пятьдесят метров, сорок метров...

Самолет чуть подкинуло и понесло вперед стремительнее, чем секунду тому назад.

Аветисян и Брок привстали со своих мест и напряженно смотрели прямо перед собой. Они смотрели на снежное поле, которое было слева и которое очень медленно приближалось.



Так, во всяком случае, им казалось. Земля быстро уходит при взлете и очень медленно приближается во время посадки.

– Тридцать метров, – продолжая отсчитывать, Пьянков посмотрел на Струмилину, – двадцать метров...

«Неужели вытянем? – думал Струмилин, наблюдая за тем, как самолет неуклонно сносило налево, – тогда он просто гений, этот Пашка...»

Самолет завис в воздухе, и на какую-то долю секунды всем показалось, что движение и время остановились, подчиненные спокойному приказу двадцатипятилетнего парня в кожаной куртке.

Струмилин не понял, дотянул все же Павел до снежного поля или сейчас машина перекувырнется, ударившись шасси в торосы.

«Сейчас, – думал Струмилин, – вот сейчас... Ну, дотяни, голубушка, дотяни же!»

– Все, – спокойно сказал Богачев, – сели, как в аптеке.

Удара шасси о снег все еще не было. Но как только он сказал, все в кабине ощутили спокойный, несильный толчок, и машина покатила по снежному полю.

Струмилин обернулся и посмотрел на Аветисяна и Брока. Те стояли у него за спиной. Аветисян развел руками, что могло означать одновременно и крайнюю степень восхищения и, наоборот, высшую форму раздраженности.

«Что мне ему сказать? – напряженно думал Струмилин. – Он блестяще посадил машину, но он посадил ее очень рискованно и слишком красиво. Это для авиационного парада, а не для Арктики...»

Богачев обернулся к Пьянкову и спросил:

– Володя, у тебя нет спички? У меня в зуб что-то попало.

Пьянков протянул ему пустой коробок. Богачев отломил кусок фанерки и стал чистить зуб. Струмилин испытующе смотрел на него, а потом не выдержал и засмеялся. И весь экипаж тоже засмеялся. Богачев удивленно посмотрел на Струмилину, на Володю, потом быстро оглянулся на Аветисяна и Брока и спросил:

– Я что-нибудь не так сделал, Павел Иванович?

– Вы все сделали так, как надо, Паша, молодец вы...

– Это вы говорите честно или для того, чтобы поднять во мне дух?

– Я говорю это абсолютно честно.

– Тогда большое спасибо.

И снова все засмеялись, а Богачев, снова посмотрев на своих товарищей, подумал: «Издаются, черти, а что я сделал такого?»

В Чокурдахе им сказали, что ремонт лыжи, которая стояла на их старом самолете, закончен и что нужно как можно скорее возвращаться в Тикси, желательно без ночевки в Чокурдахе. Подвоз грузов для высокоширотной экспедиции Арктического института закончился, и начались полеты с научными работниками на борту.

– А вам, – сказали Богачеву, – пришла радиogramма из Москвы, но мы ее в Тикси переслали.

– От кого?

Ему ответили:

– От Струмилиной...

## 6

– Груза в Тикси много? – спросил Струмилин.

– Да. Мы вам лес загрузим и картошку. И лук.

– Сколько всего?

- Под завязку.
- Ладно.

Струмилин вышел из диспетчерской. Мела поземка. Снег был колючий, как щетина. Низкие рваные облака казались черными, а небо, проглядывавшее сквозь эти низкие рваные облака, было серебряного цвета.

«Будет снег, – решил Струмилин. – Когда небо кажется перламутровым, а облака черными, тогда обязательно начинается снег».

Экипаж сидел в столовой. Володя Пьянков сбегал к своим друзьям чукчам и принес нельму.

- Сейчас я сделаю строганинку, – сказал он. – Паша, ел когда-нибудь строганинку?
- Нет, не ел. Только, может быть, мы поедем сегодня строганины в Тикси?
- Он торопится получить радиogramму, – сказал Аветисян.
- У тебя же нет детей, – сказал Брок, – так что нечего волноваться.
- Успеем и в Тикси. Только сначала я угошу всех строганиной.

Володя стал резать бело-розовое мясо рыбы. Он нарезал много тонких бело-розовых кусков замороженной нельмы, попросил принести с кухни южного, терпкого соуса и побольше черного перца. Потом он быстро подхватил кусок рыбы, сложил его трубочкой, обмакнул в соус, потом в перец и, зажмурившись, положил себе в рот.

- Тает, – сказал он нежным голосом, – снегурочка, а не рыба.

Аветисян жмурился и молча качал головой, а Брок издавал негромкие стоны, выказывая этим наслаждение, какое он испытывал, вкушая мороженую нельму.

– Гарантирую сто лет жизни тому, кто зимой ест такую строганину, – сказал Аветисян, – она полезна, как рыбий жир, и вкусна, как паюсная икра.

- Слишком рыбы сравнения, – сказал Брок, – не впечатляет.
- Может быть, тронемся? – снова предложил Павел. – Очень вкусная строганина.
- Не торопись, – заметил Брок. – Командир сейчас придет и все нам скажет. Не можем ведь мы лететь без командира.

Вошел Струмилин и, обмахнув веником унты, сказал:

- Ого, строганина, оказывается, появилась!
- Павел Иванович, скоро полетим? – спросил Павел.
- Подзаправимся – и полетим. А что такое?
- Да нет, ничего, – ответил Богачев обрадованно, – просто интересуюсь.
- Он получил радиogramму, – пояснил Пьянков.

Богачев почувствовал, что начинает краснеть.

- От прекрасной незнакомки, – добавил Брок.

Струмилин, продолжая есть строганину, поинтересовался:

- От кого?

Богачев покраснел еще больше и, посмотрев в глаза Струмилину, ответил:

- От вашей дочери. От Жени.

Когда поднялись за облака и пошли в своем эшелоне, Струмилин сказал:

- Володя, очень хочется кофе, поставьте, пожалуйста, воды на плитку, а я потом заварю.

Пьянков поднялся со своего места, на котором он сидел при взлетах и при посадке, разматывал тонкий шарф, повесил его на крючок, снял шапку и пошел из кабины в «предбанник». Там в маленьком помещении, отделявшем кабину от грузового помещения, стояли самодельная кушетка, маленький стол, два раскладных стульчика и один ящик, который заменял собой отсутствующее кресло. Володя включил плитку и поставил на нее чайник с теплой водой, взятой в Чокурдахе. Потом он вернулся в кабину и сказал:

- Павел Иванович, вода закипает...

Струмилин сидел у плитки и ждал того момента, когда кофе поднимется. Этот момент ни в коем случае нельзя пропустить, во-первых, потому, что сразу запахнет гарью, а во-вторых, сойдет главное – навар, который дает кофе аромат и крепость.

Как только кофе стал подниматься, Струмилин выключил электричество и досыпал еще две столовые ложки грубомолотых зерен, смешанных с сахарным песком. Это, по мнению Струмилины, делало наш слабый кофе хоть в какой-то мере похожим на настоящий бразильский. Возвращаясь в прошлом году из Африки, он на день задержался в Париже и купил там четыре килограмма бразильских кофейных зерен. Он не стал их молотить, а просто побил молотком и добавлял в нашу заварку две столовые ложки настоящего бразильского кофе.

Попробовав, Струмилин закрыл глаза и, словно дегустатор, несколько секунд шевелил губами и растирал языком на зубах ароматную крепкую заварку.

«Хорошо, – решил он, – очень хорошо получилось. Ребятам будет не так скучно лететь».

Струмилин налил в две кружки, себе и Павлу, кофейник прикрыл «бабой», купленной предусмотрительным Броком, и пошел в кабину.

– Володя, Нёма и Геворк, – сказал он, пробираясь на свое место, – вас кофе ждет. Вам я принес, Паша.

– Спасибо.

Павел сделал один глоток и сразу же вспомнил лето прошлого года, свой отдых, поход по Черноморскому побережью, Сухуми и старика, с которым он познакомился в маленькой кофейне. Старик отчаянно ругал теперешнюю молодежь.

Старика звали Ашот, и он умел ругать молодежь так, что с ним нельзя было не соглашаться. Когда говорят красиво, медленно и убежденно, да к тому же еще старики, как-то неудобно с ними не соглашаться. Старик говорил, что молодые не в полную силу дерутся за хорошее, он говорил, что они равнодушны и удовлетворяются удовлетворительным. А надо всегда хотеть только отличного. Особенно молодым.

Павел допил кофе и улыбнулся. А потом вздохнул.

– Что вы? – спросил Струмилин.

– Я вспомнил одного старика. Его звали Ашот. Он говорил очень красивые и очень неверные слова. Я только совсем недавно понял, как не прав старик Ашот. Он не прав только в одном: он настоящий старик, а старики всегда с пренебрежением относятся к молодым. Они думают, что молодые хуже и глупее их. А это неверно. Их поколение делало революцию, но ваше – завоевало полюс и победило Гитлера. А наше поколение взяло Антарктиду, целину и космос.

Струмилин внимательно посмотрел на Павла и спросил:

– Вы очень любите отца, Павел?

– Разве можно не очень любить отца?

– Но ведь вы мне рассказывали про вашу маму. Вы говорили, что...

– Она предала отца, и она предала меня.

Струмилин закурил, а потом спросил в упор:

– Паша, а вы не обижены на советскую власть? За отца? И за детский дом? И – за Бога-чева?

– Мой отец – советская власть. А тот, кто подписал ордер на его арест и расстрелял потом... Я ненавижу их... Они были скрытыми врагами. А потому они еще страшнее. Они делали все, чтобы мы перестали верить отцам. А нет ничего страшнее, когда перестают верить отцам. Тогда – конец. Спорить с отцами нужно, но верить в них еще нужнее. Так что я не обижен на советскую власть, Павел Иванович, потому что она – это мой отец, вы, Брок, Володя, Геворк...

– Между прочим, – сказал Наум Брок, передавая Струмилину очередную радиogramму о погоде, – старик Ашот, о котором ты говорил, не так уж не прав, как тебе кажется, Паша. После пятьдесят третьего года восемь лет прошло. Нас учат: «Смелее бейте плохое! Ярче возносите хорошее!» Так вот хорошее мы возносить умеем, а что касается плохого, так здесь вариант «моя хата с краю» по-прежнему здорово силен.

– Это точно, – согласился Пьянков, – на рукопашную нет храбрее нас, а как на собрании начальство крыть за справедливое, так здесь мы па-де-труа вычерчивать начинаем: все одно, мол, не поможет.

– Да... – сказал Струмилин. – Надо сильней и смелей критиковать все плохое. Тогда жизнь станет у нас просто куда как лучше. А сейчас иной страхуеться: «Покритикую, а начальство, глядишь, квартиры и не даст, вот я в бараке и останусь»...

– А мне кажется, не только в этом дело, – сказал Павел, – мне кажется, все проще. Есть люди честные и смелые, а есть трусливые и нечестные. Честный – он везде честный.

Аветисян заметил:

– Может быть. Но лично я бараки с удовольствием сжег бы, все до единого...

## 7

– Дай побольше газа, Вова, – попросил Богачев, – еще чуть больше.

– Боишься, что уйдут радисты и ты не сможешь получить радиogramму?

– Тебе в цирке работать. Реприза: «Провидец Пьянков с дрессированными удавами».

– Не дам газа.

– Володенька!..

– Пусть тебе провидец дает газ...

– Вовочка!..

– Пусть тебе удавы дают газ, – бормотал Пьянков, осторожно прибавляя обороты двигателям.

Богачев смотрел, как стрелка спидометра ползла вправо. И чем дальше она ползла вправо, тем радостнее ему становилось. Он обернулся к Пьянкову и сказал:

– Ты гений, старина!

– Ладно, ладно, не в церкви.

– Не сердись.

– Не то слово. Я задыхаюсь от негодования.

Брок засмеялся и сказал Аветисяну:

– Геворк, знаете, мне страшно за Мирову и Новицкого. Наши ребята вырастут в серьезных конкурентов.

Вошел Струмилин еще с двумя чашками кофе и спросил:

– Кому добавок?

– Мне, – попросил Богачев.

Струмилин сел рядом с ним, посмотрел на доску, в которую вмонтированы приборы, отметил для себя, что во время его десятиминутного отсутствия скорость движения возросла, но ничего говорить не стал. Он только подумал: «Жека, Жека, что ты там еще задумала? Неужели тебе захотелось поиграть с этим парнем, который сидит справа от меня, и летает над Арктикой вместе со мной, и пьет кофе, который я завариваю, и прибавляет скорость, хотя этого не надо было бы делать, и беспрерывно курит, потому что хочет поскорее получить твою радиogramму? Ты выросла без матери – раньше, чем надо бы. Когда есть мать, юность продолжается дольше, а это самая прекрасная пора человеческой жизни, маленькая моя, сумасбродная Жека, хороший мой, честный человек. Не играй с этим парнем, у него тоже было не так

уж много юности, очень я тебя прошу об этом, просто ты даже не представляешь, как я прошу тебя об этом...»

– Будете сажать машину, – сказал Струмилин. – Вы любите садиться ночью?

– Я еще ни разу не сажал здесь машину ночью.

– Это очень красиво. Садись – будто прямо в карнавал. Особенно издали. Это из-за огоньков поселка.

– Я понимаю.

– А особенно красиво, когда ночью или ранним утром садишься во Внукове. Там очень много сигнальных огней. Я всегда смеюсь, потому что вспоминаю поговорку «с корабля на бал».

Аветисян рассчитал время точно и так же точно вывел машину на посадку. Он вывел машину так точно, что Богачеву показалось ненужным выполнять обязательную при посадке «коробочку». Выполнение «коробочки» занимает никак не меньше десяти, а то и пятнадцати минут. А в радицентре за эти проклятые десять или пятнадцать минут могут уйти люди, в руках которых находится радиограмма, переданная из Москвы Женей.

Павел мастерски посадил машину. Когда он вырулил на то место, которое ему указал флажками дежурный, он услышал в наушниках злой голос:

– Немедленно зайдите в диспетчерскую!

– Кому зайти в диспетчерскую? – спросил Павел.

– Командиру корабля.

– Вас понял.

Все трое – Аветисян, Пьянков и Брок – переглянулись. Они поняли, почему командира вызывают в диспетчерскую. Они не могли не понять этого. Богачев посадил машину, не выполнив «коробочки». Это нарушение правил. Это очень серьезное нарушение правил. Именно за это вызывали командира корабля к диспетчеру. Не за что было вызывать командира корабля, кроме как за это.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.